ОБРАЗЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

С. Ф. ПЛАТОНОВ

ИВАН ГРОЗНЫЙ

ПЕТЕРБУРГ
ИЗДАТЕЛЬСТВО БРОКГАУЗ-ЕФРОН
1923

ОБРАЗЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

Проф. С. И. ТХОРЖЕВСКИЙ — Стенька Разин.
„ М. Д. ПРИСЕЛКОВ — Нестор Летописец.
„ Н. И. КАРЕЕВ — Карлейль.
„ А. И. ХОМЕНТОВСКАЯ — Кастильоне.
В. А. НИКОЛЬСКИЙ — Суриков.
Проф. В. П. БУЗЕСКУЛ — Перикл.
„ Д. П. КОНЧАЛОВСКИЙ — Аннибал.
„ Д. Н. ЕГОРОВ — Шлиман.
Акад. С. Ф. ПЛАТОНОВ — Иван Грозный.

ПЕЧАТАЮТСЯ:

Проф. А. Е. ПРЕСНЯКОВ — Александр I.
„ Г. П. ФЕДОТОВ — Абеляр.
Т. Н. АНЦИФЕРОВА — Юрий Крижанич.
Проф. И. М. ГРЕВС — Данте.
„ Н. И. КАРЕЕВ — Дантон.
Н. Д. ШАХОВСКАЯ — Князь Курбский.
Проф. А. Е. ПРЕСНЯКОВ — Николай I.
„ К. В. КУДРЯШЕВ — Платон Зубов.

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:

Н. П. АНЦИФЕРОВ — Мадзини.
АЛЕКСАНДР БЕНУА — Мольер.
Проф. М. М. БОГОСЛОВСКИЙ — Петр Великий.
Н. В. БОЛДЫРЕВ — Бенжамен Констан.
А. ГВОЗДЕВ — Казанова.


БРОКГАУЗЪ-ЕФРОНЪ
С.П.Б.

ТИПОГРАФИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВА
БРОКГАУЗ-ЕФРОН
ПЕТРОГРАД, ПРАЧЕШНЫЙ, 6.

Петрооблит 8411

Напечатано 30

С. Ф. ПЛАТОНОВ.

ИВАН ГРОЗНЫЙ

(1530—1584)

„Первое условие для сколько-нибудь верной оценки исторического деятеля — это отрешиться от тенденциозности, второе — понять век, в котором он жил и действовал".

Г. В. Форстен.

ПЕТЕРБУРГ
ИЗДАТЕЛЬСТВО БРОКГАУЗ-ЕФРОН
1923



I

ВСТУПЛЕНИЕ

ГРОЗНЫЙ В РУССКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ.

Для подробного обзора всего того, что написано о Грозном историками и поэтами, потребна целая книга. От „Истории Российской" князя Михайлы Щербатова (1789 г.) до труда Р. Ю. Виппера „Иван Грозный" (1922 г.) понимание Грозного и его эпохи пережило ряд этапов и пришло к существенному успеху. Можно сказать, что этот успех — одна из блестящих страниц в истории нашей науки, одна из решительных побед научного метода. Автор надеется, что последующие строки достаточно раскроют эту мысль.

Главная трудность изучения эпохи Грозного и его личного характера и значения не в том, что данная эпоха и ее центральное лицо сложны, а том, что для этого изучения очень мало материала. Бури Смутного времени и знаменитый пожар Москвы 1626 года истребили московские архивы и вообще бумажную старину настолько, что события XVI века приходится изучать по случайным остаткам и обрывкам материала. Люди, не посвященные в условия исторической работы,

вероятно, удивятся, если им сказать, что биография Грозного невозможна, что о нем самом мы знаем чрезвычайно мало. Биографии и характеристики Петра Великого и его отца царя Алексея возможны потому, что от этих интересных людей остались их рукописи: деловые бумаги, заметки, переписка, словом — их архив. От Грозного ничего такого не дошло. Мы не знаем его почерка, не имеем ни клочка бумаги, им самим написанного. Все старания известного археографа Н. П. Лихачева найти такой клочек и определить хотя бы строчку автографа Грозного не привели ни к чему. Осторожный исследователь ограничился тем, что опубликовал две кратких надписи, „не делая предположений" (как он выразился), но давая понять, что в одной из них он готов допустить факсимиле почерка Грозного [1]). Тексты тех литературных произведений, которые приписываются Грозному, дошли до нас в копиях, а не в автографах, и мы не можем восстановить в них точного авторского текста. Знаменитое „послание" царя Иоанна ко князю Андрею Курбскому 1564 года имеется в разных редакциях и во многих списках с существенными разночтениями, и мы не знаем точно, какую редакцию и какое чтение надлежит считать подлинными. То же можно сказать и о всех прочих „сочинениях" Грозного. Даже оффициальный документ, „Завещание" Грозного (1572 г.) —

[1]) Н. Лихачев. Дело о приезде в Москву Антония Поссевина (СПБ.. 1893), стр. 60, таблица IV.

не сохранилось в подлиннике, а напечатано с неполной и неисправной копии XVIII столетия. Если бы нашелся ученый скептик, который начал бы утверждать, что все „сочинения“ Грозного подложны, с ним было бы трудно спорить. Пришлось бы прибегать ко внутренним доказательствам авторства Грозного, ибо документальным способом удостоверить его нельзя. Исключением является только переписка Грозного с одним из его любимцев Василием Григорьевичем Грязным-Ильиным. Грязной попал в плен к крымским татарам и по делу о выкупе Грозный „милостиво“ вступил с ним в переписку. Тексты писем царя и Грязного внесены были в свое время в официальную книгу „Крымских дел“ и потому могут рассматриваться, как документ, как точная заверенная копия переписки. Этим самым переписка царя с Грязным получает особенную историческую важность, правильно определенную последним ее исследователем П. А. Садиковым.

Если так обстоит дело с личными сочинениями и письмами Грозного, то немногим лучше положение и всего летописного материала того времени. Московское летописание в XVI веке стало делом официальным, и летописи поэтому сдержанны и тенденциозны. Казенные летописатели, пользуясь частными летописными записям, или обезличивали их, или же переделывали на свой лад. Излагая по-своему происходящие события, они держались строго правительственной точки зрения. Много следов мелочной

переработки летописей, в духе Грозного царя, можно видеть в так называемом „лицевом своде". В XIII томе „Полного Собрания Русских Летописей" дано несколько снимков со страниц этого свода, переделанных и дополненных, повидимому, по указаниям самого Грозного. Понятно, что пользоваться такого рода источником историк должен крайне осмотрительно, иначе он станет жертвою одностороннего понимания событий. Но такая же опасность грозит ему и с другой стороны. Царь и его казенные летописцы излагали московские дела по-своему, но по-своему же их изображали и политические противники Грозного.

Пресловутый князь А. М. Курбский, убежавший от московского террора в Литву, там написал свою „Историю о великом князе Московском". Это очень умный памфлет, направленный на обработку общественного мнения в Литве. В нем много ценного и точного исторического содержания, и потому все тенденциозные выходки Курбского против Грозного получают особую силу. Но все таки это памфлет, а не история, и верить его автору на слово нельзя. Еще в большей степени пристрастны иностранные сказания о Грозном. Их наиболее ярким образцом можно счесть „послание" лифляндцев Таубе и Крузе о „великого князя Московского неслыханной тираннии". Даже сдержанный Флетчер, ученый англичанин, бывший в Москве лет пять спустя после кончины Грозного, не избег общего настроения: к памяти московского тирана он относится не

спокойно, приписывая личной вине Грозного все неустройства московской жизни того времени.

Историк, вращаясь в круге подобных летописных известий и литературных сказаний, современных Грозному, должен ко всем данным своих источников относиться с сугубою осторожностью и учитывать возможность не только простой субъективности, но и страстной тенденции в каждом изучаемом памятнике. Для него нет твердой почвы и в произведениях тогдашней литературной письменности. Время жгучей борьбы, политической и социальной, налагало свою печать на все: литературный интерес современников Грозного был направлен на боевые темы переживаемого момента. Но младенческое состояние политической мысли не позволяло твердо и четко понять и обсудить эти темы, и в разного рода „беседах“, „посланиях“, „изветах“, „челобитных“ и „сказаниях“ того времени исследователь напрасно ищет определенных идей и программ. Он находит лишь смутный лепет и неясные намеки на действительность, намеки непонятные и испорченные к тому же невежеством переписчиков. Литература эпохи так же, как собственно исторические источники, дает историку очень мало не только толкований, но и просто объективных фактов для того, чтобы он сам мог создать толкование эпохи.

При таком состоянии исторического материала, конечно, невозможно составить серьезную, фактически полную биографию Грозного. Стоит дать себе труд

припомнить, что̀ и за какие годы жизни Грозного знаем мы о нем. Такое припоминание покажет, что за целые ряды лет у нас нет лично о Грозном никаких данных. Так, например, о первых годах его жизни не имеется никаких сведений, кроме трех-четырех упоминаний в письмах (1530—1533 г.г.) его отца великого князя Василия к его матери Елене Васильевне. Великий князь был в отъезде и беспокоился о здоровьи своего первенца, „что против пятницы Иван сын покрячел“: именно „у сына у Ивана явилося на шее под затылком место высоко да крепко“. Простой веред у малютки прошел благополучно, и затем до его 13-тилетнего возраста ни о его здоровьи, ни о жизни вообще ничего неизвестно. В конце 1543 г. тринадцатилетний государь-сирота впервые показал свой нрав—арестовал одного из виднейших бояр, князя Андрея Шуйского, и „велел его предати псарем, и псари взяша и убиша его“. „И от тех мест (замечает летопись) начали бояре от государя страх имети“. До 1547 года, однако ничего неизвестно о дальнейших поступках юноши великого князя. В 1547 г. Грозный женился и сменил титул великого князя на титул царя. Затем до 1549 г. опять темный промежуток. В 1549—1552 годах Грозный законодательствует и воюет; в 1553 году болеет тяжко и ссорится со своими боярами; и „от того времени бысть вражда промеж государя и людей“. Вторая половина 50-х годов опять темна: о личной жизни Грозного не знаем; знаем кое-что

лишь о его политике относительно Ливонии, о начале войны. В 1560 г. умерла первая жена Грозного; в нем самом совершилась какая-то перемена настроения. Дальнейшая эпоха полна рассказов о его зверствах, о о терроре „опричнины". Рассказывают почти исключительно иностранцы и Курбский. Русские источники молчат, ограничиваясь краткими замечаниями в роде того, что в 1574 г. „казнил царь на Москве, у Пречистой на площади в Кремле, многих бояр, архимандрита Чудовского, протопопа и всяких чинов людей много, а головы метали под двор Мстиславского". Но все эти рассказы и замечания противоречивы и мало определенны, датируются с трудом и возбуждают много недоразумений, о которых можно читать и у Карамзина, и у позднейших историков. А документов мало: даже указ об учреждении опричнины не дошел до нас в подлинном виде. Ни точной хронологии, ни достоверного фактического рассказа о деятельности и личной жизни Грозного построить нельзя. Перед историком проходят целые вереницы лет без единого достоверного упоминания о самом Грозном. Какая „биография" тут возможна? И где тот материал, на котором было бы можно построить правильную „характеристику". В данных условиях мыслимы только догадки, более или менее вероподобные, более или менее соответствующие указаниям уцелевшего скудного материала.

Историк XVIII века князь М. М. Щербатов в своей „Истории Российской", „прошед историю сего

государя“, вынес впечатление, что Грозный „в столь разных видах представляется; что часто не единым человеком является“. Порабощенный противоречиями своих источников, историк перенес их на характер своего героя. Он не удержался от того, чтобы не объяснить эти противоречия путем догадок и умозаключений, и попытался указать некоторые личные свойства Грозного. Не без остроумия замечал он о Грозном, что „в ком самовластие, соединенное с робостью и низостью духа находится, в том обыкновенно оно производит следствия непомерной горячности, недоверчивости и сурового мщения“. Дальше этого Щербатов не шел. Указанные недостатки Грозного он противопоставил его „проницательному и дальновидному разуму“ и в этом видел внутреннее противоречие и двойственность характера Грозного.

Тот же взгляд на Грозного, но с большим литературным искусством, выразил Карамзин в своей „Истории Государства Российского“. Подходя к описанию„ времени Грозного, Карамзин предвкушал прелесть предстоявшей темы: „Какой славный характер для исторической живописи!“ писал он Тургеневу о Грозном. Мрачная драма той эпохи казалась Карамзину литературно занимательной, и он изобразил ее с большим художественным эффектом. Но характера Грозного он не уловил так же, как Щербатов, хотя и пытался обнять его „умозрением“. „Несмотря на все умозрительные изъяснения (писал он в своей „Истории“), характер Иоанна, героя добродетели в

юности, неистового кровопийцы в летах, мужества и старости, есть для ума загадка",

Карамзин пытался разъяснить эту загадку, следуя тому толкованию Курбского, что Грозный всегда был умственно несамостоятелен и подчинялся посторонним влияниям. Он был добродетелен, когда „опирался на чету избранных,—Сильвестра и Адашева", и нравственно пал, когда приблизил к себе развратных любимцев. Он представлял в себе „смесь добра и зла" и совмещал, казалось бы, несовместимые качества: „разум превосходный", „редкую память" с жестокостью „тигра" и с „бесстыдным раболепством гнуснейшим похотям". Постоянно ударяя в своих отзывах на противоречия природы Грозного Карамзин однако не давал, так сказать, ключа к объяснению этих противоречий и оставлял неразгаданною свою для ума загадку. Образ несамостоятельного, подверженного влияниям монарха был бы целостным, еслибы Карамзин допустил в своем умозрении умственное ничтожество Грозного. Но он этого не мог допустить, ибо Грозный всегда ему являлся „призраком великого монарха", „деятельным", „неутомимым" и „часто проницательным"...

„Загадка" Карамзина была изложена им замечательно картинно и красноречиво. Эпоха Грозного ожила под его искусным пером и читалась с большим увлечением. Естественно было попытаться на материале, данном в „Истории" Карамзина, построить более удачное и тонкое изображение личности

Грозного, чем то, какое дал сам Карамзин. И такую попытку сделали московские славянофилы, обсуждавшие характер Грозного, повидимому, всем своим кружком. То, что созрело в их суждениях, было вынесено в печать К. Аксаковым и Ю. Самариным. Последний в своем труде о Стефане Яворском и Феофане Прокоповиче в нескольких словах дал указание, что „тайна (Иоанна) лежит в его собственном духе: чудно совмещались в нем живое сознание всех недостатков, пороков и порчи того века с каким то бессилием и непостоянством воли“. Это „страшное противоречие“ в Грозном его умственного превосходства со слабостью воли есть основное его свойство, объясняющее весь характер. Аксаков полнее судил о Грозном, стоя на той же точке зрения, как и Самарин. „Отсутствие воли и необузданная воля—это все равно“, говорит он по поводу Грозного, указывая, что „порча в Иоанне“ и его нравственное падение произошли тогда, когда он „сбросил с себя нравственную узду стыда“ и ударился в произвол, открыв дорогу дурным на себя влияниям. Ослабление воли в сочетании с силою острого ума—одно из основных свойств Грозного. Но столь же основною была и еще одна черта. „Иоанн IV был природа художественная в жизни“, говорит Аксаков. Образы и картины господствовали над душою Грозного, влекли его своею красотою заставляли его осуществлять их в жизни, любоваться ими. Не трезвая мысль, а поиски красоты, „художе-

ственность" владела Грозным и увлекала его к самым диким и к самым низким поступкам. Таким образом в Грозном „много было двигателей его духа", осложнивших его духовную природу.

Эти попытки славянофильского кружка развить Карамзинский взгляд и сделать его более цельным положили начало длинному ряду художественных воспроизведений характера Грозного. За славянофилами между прочим пошел Костомаров, обращавшийся к Грозному не один раз в своих популярных произведениях. За ними же следовал граф Алексей Толстой в „Князе Серебряном" и „Смерти Иоанна Грозного". Представление, созданное ими, стало ходячим. И когда Антокольский, Репин и Васнецов воплотили этот взгляд в определенную фигуру, всем стало казаться, что Грозный понятен и ясен, что в нем все доступно психологу и патологу. Чрезвычайная, утонченная жестокость Грозного, изменчивость его настроений, соединение острого ума с явною слабостью воли и склонностью подпадать посторонним влияниям—все эти усвоенные Грозному свойства манили к себе именно патологов,—и вот понемногу создалась значительная врачебная литература о Грозном. Она внимательно изучена и характеризована Н. П. Лихачевым [1]). Историку, обладающему научным критическим методом, вся эта литература кажется ненаучной, диагнозы—произвольными и построен-

---

[1]) См. цитиров сочинение, стр. 62 и след.

ными на смелых и совершенно беспочвенных догадках. Нет оснований верить медикам, когда они через триста лет по смерти пациента, по непроверенным слухам и мнениям, определяют у него „паранойю" (однопредметное помешательство), „дегенеративную психопатию", „неистовое умопомешательство" (mania furibunda), „бредовые идеи" и в общем ведут нас к тому, чтобы признать Грозного больным и совершенно невменяемым человеком. Такой вывод — естественный финал для того научно-литературного направления, которое в изучении эпохи Грозного ограничивает свой интерес центральною личностью и в характере лица ищет ключа к разумению исторического момента во всей его сложности. Человек вообще склонен объявить то, что ему непонятно, не имеющим смысла, и то, что ему кажется странным, считать за ненормальное. Отдавая дань этой человеческой слабости, Костомаров писал о Грозном, что „Грозный не был безусловно глуп", тогда как современники почитали Грозного „мужем чудного разумения". Медики сочли Грозного помешанным выродком, тогда как современные ему политики считали его крупной политической силой даже в самые последние годы его жизни. Здравый исторический метод ищет терпеливо разгадки того что непонятно, и объяснения того, что странно, не решаясь на скорые бесповоротные заключения, а отыскивая новые пути к познанию явлений, не сразу поддающихся исследованию.

С правильным историческим методом впервые познакомили русскую публику представители так называемой „историко-юридической“ школы, и во главе их С. М. Соловьев. К деятельности Грозного он подошел со своею основною мыслью, что историческая жизнь русского народа представляет собою цельный процесс развития патриархального быта в государственные формы. Ему хотелось определить, какова роль Грозного в этом процессе. И Грозный представился Соловьеву положительным деятелем, носителем государственного „начала“ в жизни его народа и противником отживавшего уклада „удельно-вечевого“. Задачи своего времени Грозный разумел лучше современных ему консерваторов; он стремился вперед, когда окружавшая его среда еще дышала старой традицией. У него была государственная программа и широкие политические цели. Нет нужды скрывать личные слабости, недостатки и пороки Грозного, но надо помнить, что не ими определяется его историческое значение. Внутренние реформы и внешняя политика Грозного делают его крупным историческим лицом, и иначе понимать его историк не может. Точка зрения Соловьева была принята всею его школой. Она была даже доведена до крайней, фальшивой идеализации Грозного в статье современника Соловьева К. Д. Кавелина, который представлял Грозного „великим“, считал его предтечею Петра Великого и с сокрушением указывал на то, что Грозного погубила его среда—„тупая“,

„бессмысленная“, „равнодушная и безучастная“, лишенная „всяких духовных интересов“. „Великие замыслы“ Грозного были извращены в бесплодной борьбе с этою средою, и сам он пал морально от своей роковой неудачи. Конечно, гиперболы Кавелина не были усвоены всею школою историков-юристов, но мысль о том, что можно сопоставлять Грозного с Петром Великим получила дальнейшее развитие. К. Н. Бестужев-Рюмин в обстоятельной статье „Несколько слов по поводу поэтических воспроизведений характера Ивана Грозного“ решительно предложил это сопоставление и провел параллель между „двумя нашими великими историческими лицами: Петром Великим и Иоанном Васильевичем Грозным“. По представлению Бестужева Рюмина это—„два человека с одинаковым характером, с одинаковыми целями, с одинакими почти средствами для достижения их“. Главное различие в том, что один успел в своих стремлениях, а другой не успел. На внешней политике обоих строит Бестужев свою параллель и главным образом на стремлении их к Балтийскому морю. Личные свойства и пороки Грозного мало занимают Бестужева, как и других историков этого направления: об этих свойствах надлежит упомянуть, но не должно на них строить изображение эпохи и оценку ее центрального лица.

Так к 80-м годам прошедшего столетия определились два способа отношения к Грозному, две манеры его оценок. Дальнейшее развитие историо-

графии не упразднило ни одной из них, но очевидно дало торжество той, которая, пренебрегая целями личной характеристики, стремилась оценить Грозного, как деятеля, как политическую силу.

Научный метод историко-юридической школы оказал могучее влияние на развитие науки русской истории. Труды русских историков стали расти и количественно, и качественно. Началась деятельная разработка архивных материалов, главным образом эпохи Московского государства. В последние десятилетия XIX века и в начале XX-го был поставлен и научно разработан ряд тем, относящихся в частности ко времени Ивана Грозного. Темы эти ставились совершенно независимо от личных оценок самого Грозного. Они имели целью проникнуть в разумение правительственного механизма и общественного строя Москвы XIV века и создать ясное представление о том внутреннем кризисе, какой переживало тогда Великорусье в глубинах народной жизни. Успех этой научной работы был очень велик. Были изучены главные исторические источники эпохи — летописные своды, писцовый материал и актовый материал, уцелевший от пожаров и иных катастроф. Обозначилась постепенность и выяснились взаимная связь и результаты пресловутых „земских реформ“ 1550-х годов. Вскрыта была финансовая система московского правительства XVI века. Определен был истинный характер опричнины. Была изучена деятельность московской власти по обороне южных границ государства

в связи с колонизацией „дикого поля“. Стали ясны состав, устройство и быт служилого класса. Выяснено было многое в процессе прикрепления крестьянства и в развитии различных видов холопства. Раскрылся в своих истинных размерах разброд населения и его последствие—запустение государственного центра. С другой стороны был изучен „Балтийский вопрос“ и все перепетии международной борьбы за Ливонию и Финское побережье. Историческое содержание эпохи стало настолько полнее и определеннее, что можно сказать, все построение истории Ивана Грозного надлежало ставить заново. Можно удивляться тому громадному различию, какое на пространстве всего лишь одного поколения оказалось в университетском изложении этой эпохи. Как мало мог дать слушателям лектор конца (или, точнее, 70-х и 80-х годов) XIX века об Иване Грозном, можно видеть в „Русской истории“ К. Н. Бестужева-Рюмина, который был для своего времени первокласным профессором. Как сравнительно много дается теперь, можно видеть из любого профессорского учебника русской истории и, конечно, из „Курса“ В. О. Ключевского. Эпоха наполнилась новым и богатым содержанием,—и это не могло не отразиться на понимании самого Грозного, его личной роли, его личных сил.

Теперь нет ни малейшего сомнения в том, что Грозный принадлежал к числу образованнейших людей своего века, получив свои знания и образовав умственные интересы в кружке митрополита Макария.

Нет сомнения в том, что реформы 50-х годов XVI века представляли собою систему мероприятий, охвативших многие стороны московской жизни: местное управление в связи с различными формами самоуправления и с упорядочением служилого класса и поместного землевладения; податную организацию в связи с лучшим обеспечением служилых людей и с улучшением самой их службы; военное устройство, церковно-общественную жизнь, книжное дело и многое другое. Нет теперь спора о том, что Ливонская война Грозного была своевременным вмешательством Москвы в первостепенной важности международную борьбу за право пользования морскими путями Балтики. Упразднился старый взгляд на опричнину, как на бессмысленную затею полоумного тирана. В ней видят применение к крупной земельной московской аристократии того „вывода", который московская власть обычно применяла к командующим классам покоренных земель. Вывод крупных землевладельцев с их „вотчин" сопровождался дроблением их владений и передачей земли в условное пользование мелкого служилого люда. Этим уничтожалась старая знать и укреплялся новый социальный слой „детей боярских", опричных слуг великого государя. Обнаружилась, далее, любопытная и важная черта в деятельности московского правительства в самую мрачную и темную пору жизни Грозного — в годы его политических неудач и внутреннего террора. Это — забота об укреплении южной границы государства и заселении „дикого поля".

Под давлением многих причин правительство Грозного начало ряд согласованных мер по обороне своей южной окраины и, как всегда, проявило широкий почин, деловую энергию и уменье согласовать усилия администрации с содействием земских сил. Вместо старых представлений о последних годах жизни Грозного, как о времени унылого бездействия и безумной жестокости, пред историками развернулась картина обычной для Грозного широкой деятельности. Наконец, выяснение причин и проявлений социального кризиса, вызвавшего опустошение московского центра к 80-м годам XVI века, сняло лично с Грозного обвинение в том, что он по своей будто бы трусости и ничтожеству дал торжествовать над собою талантливому врагу Стефану Баторию. Выяснилось, что быстро развернувшийся кризис лишил Грозного всяких средств для продолжения борьбы и что его личное воздействїе на ход событий вряд-ли здесь допустимо.

Словом, всякий частичный успех в исследовании эпохи вел к тому, что личность Грозного, как политика и правителя, выростала и вопрос о его личных свойствах и недостатках терял свою важность для общей характеристики его времени. Изучение правительственной деятельности Грозного развернуло перед историками широкую и сложную картину с одними и теми же чертами для начала и для конца царствования Грозного. Вокруг Грозного менялись лица и могли меняться их влияния, сам Грозный мог

жить добродетельно или порочно, — все равно, свойства московской политики оставались при нем одинаковыми. Это была политика большого размаха, отмеченная всегда отважным почином, широтою замыслов и энергией выполнения задуманных мер. Очевидно, что эти черты вносились в жизнь самим Грозным; они не приходили с Сильвестром и не уходили с Басмановым и Малютой Скуратовым. И Грозный во втором периоде своих реформ, в опричнинской ломке аграрно-классового строя, совершенно тот же, как и в первом периоде церковно-земских преобразований. Он—крупная политическя сила.

Именно это впечатление выростает в каждом, кто знакомится с новыми исследованиями по истории русского XVI века во всей их совокупности. С таким именно впечатлением приступил к своему труду об Иване Грозном и последний его историк проф. Р. Ю. Виппер. Но, воспользовавшись всем тем, что дала ему новая русская историография, он с своей стороны внес и нечто свое. Он дал в начале своего труда общую характеристику „XVI-го века", как поворотного момента в вековой борьбе „кочевой Азии" и „европейцев", момента, когда успех в мировой борьбе стал переходить на сторону последних. С этой всемирно-исторической точки зрения проф. Виппер представил оценку как московской политики XVI века, так в частности и самого Грозного. „Среди нового политического мира Европы (говорит он)

московскому правительству приходилось развернуть не только военно-административные таланты, но также мастерство в кабинетной борьбе. Грозный царь, его сотрудники и ученики с достоинством выдержали свою трудную роль". Следя за деятельностью Москвы XVI века в связи с общим ходом политической жизни Европы и Азии, наш автор не скупится на похвалы русскому политическому и военному искусству того времени и смотрит на Грозного, как на крупнейшего исторического деятеля. Книгу проф. Виппера можно назвать не только апологией Грозного, но его апофеозом. Выведенный из рамок национальной истории на всемирную арену, Грозный показался и на ней весьма крупным деятелем.

Таково последнее слово нашей исторической литературы о Грозном. Думаем, что оно навсегда упразднило возможность презрительного отношения к личности Грозного. Но, быть может, оно несколько перетянуло весы в другую сторону, и дальнейшая задача исследователей—найти точное равновесие между крайностями субъективных оценок.

Предлагаемый очерк отнюдь не претендует на эту роль суперарбитра в суждениях о Грозном. Его целью было дать такой „образ" Грозного, какой сложился в уме автора при знакомстве с наиболее характерным историческим материалом данной эпохи. В кратком очерке о многом пришлось говорить бегло, иногда же и просто умалчивать. Но автор будет удовлетворен, если из его

очерка читатель вынесет определенное представление о главных моментах жизни и деятельности Грозного и о некоторых бесспорных, достоверных чертах его характера и ума. Цельную же характеристику Грозного, его законченный „образ“ воссоздать автор не надеялся, ибо не верит в то, чтобы это сделать было вообще возможно.

II

ВОСПИТАНИЕ ГРОЗНОГО.

1.

Грозному пришлось жить и действовать в один из важных периодов бытия великорусского племени. Судьба бросила это племя на волнистую равнину, покрытую лесами и изрезанную реками, пустынную и легко доступную для заселения. Поселенцы свободно растекались на этой равнине, как растекается вода на гладкой поверхности. Общий процесс колонизации переносил народную массу с запада и юга на север и восток, от старых Днепровских гнезд русского славянства к Поморью и к Уральским горам. На пути к северу препятствиями были только лесные пустыни „волока" — водораздела между Волжскими и Поморскими реками, где леса и болота одолевали людскую энергию. На пути же к востоку препятствовал движению инородческий мир — народцы, вошедшие в состав татарского Казанского царства, главным образом черемисы на рр. Унже и Ветлуге и мордва на р. Суре. Идущая с севера на юг линия рек Ветлуги и Суры долго служила восточным пределом русской колонизации, шедшей из Владимиро-Суздальского центра, точно так же, как линия Белоозера и Вологды была ее северным

пределом. Далее на север, в „Заволочьи“, простиралась область колонизации Новгородской, имевшей иной характер, чем колонизация среднерусская. В отличие от подвижного промышленника и хищника новгородца, владимирцы и суздальцы, крестьяне и монахи, медленно и прочно освоивали „новую землицу“ и не спеша переносили с одной заимки на другую свою пашню или подсобный лесной промысел, оставляя выпаханную „пустошь“ ради нового „починка“.

Тот момент, когда волна колонизации докатилась до своих преград и безудержный разлив населения был ими несколько сдержан, тот момент оказался существенным переломом не только в хозяйственной, но и в политической жизни страны. При текучем (как выразился С. М. Соловьев) состоянии населения политическая власть не имела силы сдержать и прикрепить к месту народную массу, организовать ее в своих целях и видах и подчинить своей воле. Удельные князья поневоле ставили свое хозяйство и администрацию в зависимость от бродячести населения. Прибыль „приходцев“ на их земли делала их сильными и богатыми; убыль отнимала у них их политическое значение и делала их „худыми“. Перелив населения с Клязьмы на Волжские верховья после Батыева погрома ослабил Владимир и Суздаль и поднял Тверь и Москву. Накопление народа в Галиче Мерском, на плоскогорьи между рр. Костромой и Унжею, позволило Галицким князьям в XV веке

встать против Москвы и выдержать долгую и упорную с нею борьбу за главенство в восточном Великорусьи. Эта зависимость князей от случайностей колонизационного движения ослабла тогда, когда движение масс было временно остановленно на рубежах Поморья и Понизовья. Природные трудности дикого лесистого волока и сопротивление новгородцев не пускали на север; черемиская война не пускала на восток. В массе своей в XV веке пашня стала устойчивой, и пахари осели в своих волостях крепче, чем прежде. Московские великие князья получили поэтому некоторую возможность учесть население и начали крепить его к тому или иному роду государственных повинностей. Вторая половина XV-го и первая половина XVI-го столетия характеризуется именно этою работою прикрепления. Московские князья, захватившие под свою власть всю Низовскую землю и покорившие Великий Новгород, спешат и там и здесь „описать“ свои владения, водворить на „поместья“ тысячи служилых помещиков „детей боярских“, закрепить за ними в поместьях крестьянское население, а на свободных крестьянских землях образовать за круговой порукою податные общины, которые бы из-за себя тяглецов не выпускали. Одновременно и в высших социальных слоях шла такая же работа по закреплению за государем его „вольных“ слуг. Лишались своих исконных вольностей и прав не только бояре, потерявшие возможность „отъехать“ от московского государя к иному владе-

телю, но и удельные владетельные князья, поддавшиеся Москве и „бившие челом в службу волею“ московским государям. Эти „княжата“ были все более и более стесняемы в праве распоряжения своими удельными землями, „вотчинами“, были сравнены в порядке службы с простыми боярами и также, как бояре, лишены возможности уйти с московской службы и снять с себя московское подданство. Вся московская жизнь стала строиться на идее государственной „крепости“: одних она прикрепляла к государевой службе, которую отбывали с земли; других прикрепляла к „тяглу“, которое „тянули“ тоже с земли. Одни служили или с вотчин (наследственных земель), или с поместий (казенного надела); другие платили или с „пашни паханые земли доброй или середней или худой“, или же с двора на „посаде“ и с лавки на „торгу“

Грозный родился именно в это время торжества нового государственного строя, когда исчезла самостоятельность уделов, когда Новгород и Псков утратили последнюю тень своей политической особности, когда московский великий князь на деле стал „всея Русские земли государям государь“, когда, наконец, все население объединенной страны стало сознавать себя „крепким“ государству. Торжество государственного объединения и прикрепления было в ту эпоху злобою дня, очередным вопросом, занимавшим умы и возбуждавшим чувства и мысль. Все те, кто понимал значение происходившего процесса, обсуж-

дали его смысл; одни ему сочувствовали, другие же осуждали, жалея исчезавшую старинную вольность. Поклонники и почитатели народившегося государства создавали, так сказать, его теорию, представляя московского великого князя высшею политическою силою — „царем православия“, наследником вселенских византийских монархов, а Москву преемницею Рима, средоточием всего христианского мира. Настроение писателей этого направления было очень приподнятым, торжественным и ликующим. В обращениях своих к московским великим князьям они не скупились на высокие эпитеты и чрезмерную хвалу, яркими красками рисуя чрезвычайные успехи Москвы в деле „собирания“ Русской земли и в борьбе с внешними врагами. С самого детства Грозный должен был слышать и впитать в себя эти радостные гимны национального торжества, так как они были усвоены правящею средою и ею обращены в официальную теорию московской власти и созданного этою властью государства. Гораздо позже Грозный узнал другое направление современной ему общественной мысли — то, которое можно назвать реакционным и оппозиционным. Были люди, страдавшие от условий, народившихся с новым государственным порядком. Они жалели отошедшую старину и негодовали на новые обычаи, называя их „нестроениями“. „Дотоле земля наша Русская жила в тишине и в миру“, говорили они о старых временах великого князя Ивана III; о времени же его сына Василия III они прибавляли:

„которая земля переставливает обычаи свои, и та земля недолго стоит; а здесь у нас старые обычаи князь великий переменил, — ино на нас которого добра чаяти?“ Грозному, росшему в понятиях политического оптимизма, такие настроения были, конечно, чужды и враждебны. Все что пришло в Москву, в дворцовый и государственный обиход, с его бабкою великою княгиней Софьей, с ее греками и италианцами, должно было ему представляться „добром“, а вовсе не „нестроением“. Наплыв в Москву иностранных мастеров и дипломатов для его деда и отца был естественным и неизбежным следствием того политического роста, который поставил Московское княжество в положение преемницы Царьграда, первенствующей на востоке Европы державы. Какое в этом было „нестроение“?

Таков был духовный корень, на котором вырос ум и воспиталась душа Грозного. Апология абсолютизма и национального единства, сознание вселенской роли Москвы и в связи с ним стремление к общению с другими народностями — вот те идеи и стремления века, которыми определились основы миросозерцания Грозного.

Но раньше, чем Грозный осознал и усвоил эти идеи и стремления, ему пришлось пережить тяжелое время сиротского детства и связанной с ним нравственной порчи.

2.

Великий князь Иван Васильевич Грозный родился 25 августа 1530 года В это время его отц великому князю Василию Ивановичу было бол 50 лет. Не имея детей от первого брака с Соломонией Сабуровой, он в ноябре 1525 г. расторг этот бра к большому соблазну правоверных москвичей и, еще большему соблазну, 21 января 1526 г. женилс на выезжей литовской княжне из рода князей Глинских. Дядя этой княжны Елены Васильевны кня Михаил Львович Глинский вырос „у немцев“, бы воспитан в их обычаях и служил у Саксонског герцога; в Литве он пользовался громкою славо за свои воинские подвиги. Поссорясь с Литовски великим князем, он направился в Москву, г был принят с почетом. Туда он вывез и свое брата Василия Львовича с его многочисленно семьей. Сам князь Михаил не ужился и в Москве он был взят под стражу по подозрению в том, чт хочет „отъехать“ из Москвы обратно в Литву. А в время его заточения, когда подросла его племянница, осиротевшая княжна Елена Васильевна, великий князь выбрал ее себе в жены. Елена была привезена в Москву ребенком, лет за 20 до своего замужества, выросла и воспиталась в Московских нравах; но все-таки происходила она из семьи иноземной с культурными традициями не московским Этим современники объясняли поведение великог

нязя, который, вопреки добрым московским нравам, угоду молодой жене, „обрил себе бороду и пекся своей приятной наружности“ (слова Карамзина).

Но и второй брак великого князя Василия не ыл осчастливлен потомством. Первенец монарха одился только на пятый год его супружества, что ало повод злым языкам предполагать, что он, пообно Святополку Окаянному, был „от двою отцю“. Іоследующая близость великой княгини к князю Івану Федоровичу Оболенскому-Телепневу указывала и то лицо, на которое метила сплетня. Но еликий князь Василий не имел сомнений. Он с ольшим церемониалом крестил сына Ивана в Троице-Сергиевом монастыре, а через год по его ождении в день его ангела „Иоанна — Усекновение лавы“, 29 августа 1531 года, торжественно потроил, по вековому русскому обычаю, в один день обыденку“ — церковь на Старом Ваганькове я Москве (где ныне Ваганьковский переулок). Это ыла благодарственная за рождение сына „обетная“ церковь: великий князь „совершил обет свой и рия дело своима царскима рукама первие всех делателей, и по нем начаша делати, и сделаша ее церковь) единым днем; того же дни и священа бысть“. На этом торжестве присутствовал и его годовалый виновник „князь Иван“.

Желанная „благородная отрасль царского корене“, малютка Иван стал тогда же предметом чудесных рассказов. Говорили, будто в час его рождения вне-

запно разразилась сильная гроза, будто какой
юродивый предсказал ожидавшей ребенка вел
кой княгине, что у нее родится „Тит — широк
ум“ [1]), будто инок Ферапонтова монастыря Гала
тион за четверть века до рождения Грозного пре
вещал, что великому князю Василию не удаст
взять Казань, но что овладеет ею его „благод
ный сын„ (имя „Иоанн“ переводилось „божья б
годать“). Сам Грозный читал эти и подобные
рассказы в оффициальных летописных сводах и
них мог заключать о „грозе“ своего нрава, о ш
роте своего ума и о своем высоком предназначен
завоевателя и политика. Но московские пророки
смогли предугадать тех осложнений и неприятност
какими было исполнено детство, а отчасти и юнос
Грозного.

Грозный потерял отца, не имея и четырех
от роду. Василий умирал в тяжких страданиях: „
лячка“ на ноге мучила его два месяца и вызв
общее заражение крови. Предчувствуя роковой исх
Василий стал заблаговременно строить свою ду
и приказывать „о устроении земском и како
правити после его государство“. Он много за
мался составлением завещания и беседами с избр
ными боярами. Повидимому мысль его остановил

[1]) Память апостола Тита чествуется 25 августа — день
ждения Грозного; в этом — смысл предсказания. По отз
Иоанна Златоуста, Тит был наиболее искусным из учени
ап. Павла: в этом, быть может, объяснение слов „широкий

на том чтобы, передав великое княжение малютке-сыну Ивану, образовать около него как-бы регентство — боярский совет из доверенных лиц. Такими были его „сестричичи“, князья Бельские (сыновья его двоюродной сестры), „князь Михаил Львович Глинский (ему „по жене племя“), князья Шуйские, их родичь князь Борис Иванович Горбатый-Суздальский, Михаил Семенович Воронцов и некоторые другие. Особо от этой коллегии душеприказчиков великий князь доверил князю Михаилу Глинскому, боярину Михаилу Юрьевичу Захарьину и своему приближенному дьяку Шигоне охрану великой княгини Елены и опеку над тем, „како ей без него быть и како к ней бояром ходити“. С ними же он интимно поговорил и вообще о своих желаниях: „и обо всем им приказа, како без него царству строитися“. Тяжкую заботу, даже страх, внушали великому князю его братья, удельные князья Юрий и Андрей Ивановичи, которые могли „искать царства“ под его сыном и погубить Ивана. Когда великому князю уже не стало возможности утаивать от братьев свою болезнь, он всячески убеждал их крепко стоять на том, на чем они договорились и крест целовали, именно — чтобы сын его учинился на государстве государем, чтобы была в земле правда и чтобы в их среде розни никоторые не было. Они ему это обещали но, конечно, не уничтожили его тяжких сомнений. Василий скончался (4 декабря 1533 года) в тревоге за свою семью и за судьбу государства.

Действительно, едва успели похоронить вели кого князя, как уже начались в правительстве смуты По доносу на удельного князя Юрия, его арестовал правившие бояре по соглашению с великой княгиней Месяца через два другого удельного князя Андре выслали на его удел в г. Старицу и взяли с нег „запись" о полном подчинении московскому пра вительству. Вскоре после этого великая княгин Елена при содействии ее любимца князя Ивана Фе доровича Телепнева-Оболенского освободила себ от установленной над нею опеки и совершила пра вительственный переворот. Она арестовала своег знаменитого дядю Михаила Глинского и князе Ив. Ф. Бельского и Ив. М. Воротынского. Друго Бельский (Семен) и родственник Захарьина Ива Ляцкий скрылись от опасности опалы в Литву. В время этого переворота Шуйские уцелели [1]) и оста лись в правительстве, но главная сила и власт сосредоточились в руках временщика Телепнева который действовал именем Елены. С конца 1534 до начала 1538 года продолжалось это правлени великой княгини. В 1537 г. ей удалось заманить Москву удельного князя Андрея и заточить его оковах в тюрьме, где он вскоре и умер, а жен его и сына Владимира арестовать и держать по стражей. Это было в начале лета 1537 года, а всег

---

[1]) За исключением князя Андрея Михайловича, который сидел в тюрьме повидимому по прикосновенности к делу удель ного князя Юрия.

через несколько месяцев, 3-го апреля 1538 года, самой Елены не стало. Ее, по возникшему тогда упорному слуху, извели бояре отравою. Прошла с ее смерти какая — нибудь неделя, и „боярским советом князя Василия Шуйского и брата его князя Ивана и иных единомысленных им“ любимец Елены Телепнев был взят: „и посадиша его в палате за дворцом у конюшни и умориша его гладом и тягостию железною“. Тогда же освободили из-под стражи Ив. Фед. Бельского и Андрея Мих. Шуйского. Таким образом с падением Телепнева восстановился при великом князе Иване тот состав регентства, какой был намечен умиравшим Василием. Только не было в нем Михаила Львовича Глинского: он умер в тюрьме года через два после своего ареста (15-го сентября 1536 г.)

При оценке правительственного порядка, действовавшего в Москве в малолетство Грозного после смерти его матери, необходимо помнить, что власть была в руках тех фамилий, которым ее доверил векий князь Василий. Все это были близкие Василию семьи: или его „племя“ (Бельские), или „племя“ его жены (Глинские) или же родовитейшие князья Рюриковичи, которым, при доверии к ним государя, неизбежно принадлежало первенство в думе и администрации (Шуйские). Еслибы в этой среде дворцовых вельмож сохранилось согласие, они явились бы обычным регентством, династическим советом, действовавшим в интересах опекаемого монарха. Но эти

люди перессорились и превратили время своего господства, в непрерывную смуту, от которой терпели одинаково и государь, и подданные. Изучая немногие дошедшие до нас сведения об этой смуте, не видим никаких принципиальных оснований боярской взаимной вражды. Бельские и Глинские выступают всегда как великокняжеская родня, дворцовые фавориты, живущие в полной солидарности с главою им „племени“. Действия Шуйских имеют вид дикого произвола, за которым не видать никакой политической программы, никакого определяющего начала. Поэтому все столкновения бояр представляются результатом личной или семейной вражды, а не борьбы партий или политических организованных кружков. Современник по своему определяет этот неизменный, своекорыстный характер боярских столкновений: „многие промежь их бяше вражды о корыстех и о племянех их; всяк своим печется, а не государьским, ни земским“. Около виднейших и влиятельнейших сановников группировались их друзья и клиенты и, пользуясь удачею своего патрона, принимались из его торжества извлекать свою пользу, „корысть“. На доставшихся им должностях были они „свирепи, аки львове, и люди их, аки зверие дивии, до крестьян“. Политическими притязаниями или классовыми вожделениями ни на минуту нельзя объяснять этого позорного грабительского поведения временщиков, овладевавших властию в стране при малолетнем великом князе.

Ему приходилось страдательно наблюдать, как через полгода после смерти его матери и восстановления боярского регентства Шуйские упрятали в тюрьму Ивана Бельского и убили дьяка Федора Мишурина; „не любя того, что он за великого князя дела стоял“; а затем (в начале 1539 года) вынудили московского митрополита Даниила оставить сан и уйти в монастырь „за то, что он был в едином совете с князем Иваном Бельским“. На его место был поставлен митрополитом Троицкий игумен Иоасаф. Он оказался человеком независимым и, выбрав время (летом 1540 г.), настоял на освобождении Бельского Благодаря этому диктатура Шуйских прекратилась и как будто бы восстановилась деятельность регентства. Покушения татар на Московские границы от Казани (зимою в конце 1540 года) и от Крыма (летом 1541 года) погасили было боярские ссоры и напрягли энергию Московского правительства на защиту государства. Но когда опасность миновала, Шуйские взялись за старое. Князь Иван Вас. Шуйский всю вторую половину 1541 года находился во Владимире с войсками против Казанских татар. Там он и подготовил переворот, опираясь на преданные ему отряды войска. Его отряд в ночь на 3 января 1542 года ворвался в Москву и произвел ряд насилий. Князь Ив. Бельский был схвачен и сослан на Белоозеро в тюрьму, где вскоре потом убит. Его друзья были разосланы по городам. Митрополит Иоасаф от страха ночью прибежал в покои великого

князя, но бояре с Шуйским нашли его и там, при государе подвергли оскорблениям и, вытащив оттуда, сослали в Кириллов монастырь. Вместо него митрополитом был наречен и поставлен Новгородский архиепископ Макарий. В Москве опять настало засилье Шуйских; но самый видный из них князь Иван Васильевич теперь сошел со сцены, повидимому, пораженный болезнью. Вместо него действовали Шуйские старшей линии этого рода — князья Андрей и Иван Михайловичи и князь Федор Иванович Скопин-Шуйский. Первенствовал Андрей (дед будущего московского царя Василия Шуйского). Прошло года полтора под властью Шуйских, пока не назрел решительный перелом в Московской смуте. В сентябре 1543 года Шуйские при государе и митрополите „у великого князя на совете“ учинили насилие над Федором Семеновичем Воронцовым „за то, что его великий князь жалует и бережет“. Его чуть не убили и пощадили только „для государева слова“, потому что Иван очень просил за него. Но все таки Воронцова с сыном против государевой воли сослали на Кострому. При этом случае бояре во дворце оскорбили митрополита Макария, порвав на нем мантию. Насилие над Воронцовым переполнило меру терпения Ивана. Ему было уже 13 лет. Он ненавидел Шуйских, как своих постоянных обидчиков, и решился на мщение за их обиды, вероятно, подстрекаемый и со стороны — боярами. Прошло три-четыре месяца после

случая с Воронцовым, и около 1 января 1544 года Иван вдруг „велел поимати первосоветника их“ князя Андрея Михайловича и „велел его предати псарем, — и псари взяша и убиша его, влекуще к тюрьмам“. Люди, которые не верили, чтобы такое деяние могло исходить от малолетнего государя, говорили о князе Андрее, что „убили его псари у Куретных ворот повелением боярским, а лежал наг в воротех два часа“.

Смертью князя Андрея окончилось время Шуйских. Оффициальная московская летопись говорит, что, погубив „первосоветника“, великий князь сослал его брата князя Федора Ивановича и других членов их правящего кружка, — „и от тех мест начали бояре от государя страх имети и послушание“. Регентство окончилось, все главнейшие лица, введенные в него великим князем Василием, уже сошли с земного поприща. Не было в живых ни Мих. Глинского, ни Ивана Бельского, ни Василия и Ивана Шуйских. Оставались только второстепенные или недеятельные сановники в роде князя Дмитрия Федоровича Бельского и М. Ю. Захарьина. Они не владели волею Ивана. Ближе всех к Ивану были его дяди Юрий и Михаил Глинские с их матерью, бабушкой Ивана, княгинею Анною. Эта семья и получила влияние на дела при великом князе, еще не созревшем для управления. Скрываясь за подроставшим государем и не выступая оффициально, Глинские совершили много жестокостей и насилий и очень дурно влияли на самого государя. Годы

1544—1546 были временем Глинских, и об этом времени в народе сохранилась плохая память. О Глинских говорили, что „от людей их черным людям насильство и грабеж, они же их от того не унимаху“. Выросший и физически окрепший Иван выказывал дурные склонности, мучил животных „бесчинствовал, „собравши четы юных около себя детей“, и даже покушался „всенародных человеков, мужей и жен, бити и грабити, скачуще и бегающе всюду неблагочинне“. Окружавшие его „ласкатели“, то есть Глинские, не только не унимали его, но и похваливали, говоря, что „храбр будет сей царь и мужествен“. Пользуясь его склонностью к озорству, они „подучали“ его на опалы и казни. Так говорят нам современники. И действительно в эти годы Иван с чрезвычайной легкостью ссылает и казнит людей, повидимому, за малые вины, и притом не разбирая, к какому кругу боярскому они принадлежат. Страдают люди стороны Шуйских в той же мере, как их недруги и противники. Всего показательнее судьба Федора Семеновича Воронцова. Выше было указано, что в 1543 году Ф. Воронцова государь „жаловал и берег“, Шуйские же его сослали. По смерти Андрея Шуйского государь „опять его в приближении у себя учинил“; а в 1546 году Федор Воронцов был казнен вместе с сторонником Шуйских князем Иваном Кубенским по общему на них обоих доносу, к тому же доносу лживому. Таковы были первые шаги Грозного после уничтожения гласной опеки

Шуйских под негласной опекой Глинских. Нет ничего удивительного в том, что кровь и грабежи сверху вызвали бунт и кровь снизу. В 1547 году после больших Московских пожаров толпа погорельцев убила одного из Глинских, князя Юрия и, пришедши „скопом ко государю“ в село Коломенское, пыталась требовать выдачи государевой бабки княгини Анны и другого дяди Ивана князя Михаила. Государь их не выдал и они уцелели. Но имущество Глинских было погромлено и их людей „бесчисленно побиша“; „много же и детей боярских незнакомых побиша из Северы, называючи их Глинского людьми“. Этим погромом ненавистной семьи закончилось время Глинских и вместе с тем завершился первый период юности Грозного. Иван перешел в другую полосу своей жизни.

Мы с некоторою подробностью остановились на боярской смуте, чтобы показать, что именно видел Иван в своем детстве. Не идейную борьбу, не крупные политические столкновения, а мелкую вражду и злобу, низкие интриги и насилия, грабительство и произвол — все это ему приходилось изо дня в день наблюдать и терпеть на себе [1]). На этом образова-

[1]) Грозный в письме к Курбскому рассказывал, что его с братом бояре плохо кормили и одевали, с ними дерзко обращались („многажды поздно ядох не по своей воли“), оскорбляли память его отца; крали казну, золото, серебро и меха, и „вся по мзде творяще и гляголюще“. Эти обвинения были главным образом направлены на Шуйских.

лись его первые понятия, на этом воспиталась душа. И все лучшее, что приходило к Ивану в эту пору, мешалось с нездоровыми инстинктами, возбужденными средою. А лучшее несомненно приходило: оно пришло во дворец Грозного, например, с митрополитом Макарием. Макарий явился из Новгорода в Москву уже в ореоле литературной известности. Будучи архиереем в Новгороде, он достиг там необыкновенной популярности: его почитали „учительным" и „святым" человеком. Он „беседовал к народу повестьми многими" так понятно, что все „чюдишася, яко от бога дана ему бысть мудрость в божественном писании — просто всем разумети". С его появлением в Новгороде „бысть людем радость велия не только в Великом Новгороде, но и во Пскове и повсюде: и бысть хлеб дешев, и монастырем легче в податех, и людем заступление велие, и сиротам кормитель бысть". Эти достоинства пастыря, очевидные всем, сопрягались у Макария с подвигом, недоступным разумению толпы. Он задумал собрать в один сборник все „чтомые книги яже в Русской земле обретаются". Для такого сборника Новгородская почва была наиболее пригодной, потому что на Руси она была наиболее культурна. Десяток лет провел Макарий в этом труде. Он соединил вокруг себя многих деятелей, собиравших литературный материал и работавших нал его редакцией: в их числе были дьяки (Д. Г. Толмачев), дети боярские (В. М. Тучков), священники (знаменитый Сильвестр)

В результате к 1541 году были готовы „Минеи-Четьи“ — громадный сборник (более 13.500 больших листов) произведений „божественных“: житий, поучений, книг Ветхого Завета и т. п. Одних житий было в сборнике около 1.300. Перейдя на митрополичий стол в Москву Макарий перевел туда своих сотрудников и продолжал там привычную работу, дополняя и совершенствуя свой материал. Работа шла около молодого государя, бывшего в непосредственном общении с митрополитом, и государь знакомился со всем кругом тогдашнего чтения, входил в литературные интересы митрополита, подпадал его влиянию, учился под его руководством и приучался ценить и уважать нравственные его достоинства. Несклонный к политической борьбе, далекий от интриг, спокойный и преданный умственному труду, Макарий остался чист от грязи боярских столкновений и злоупотреблений и для молодого государя явился человеком как бы иного мира. Способный и умный юноша охотно и легко поднимался на высоты Макарьева миросозерцания и вместе с литературными знаниями усвоил себе и национально-политические идеалы, которым веровала окружавшая митрополита среда. Теория единого вселенского православного государства с самодержавным монархом, „царем православия“, во главе овладела умом Ивана. Риторика Макарьевской школы пришлась ему по вкусу и чтение стало любимым его занятием. К своему „возрасту“, то-есть совершеннолетию, Иван стал

образованным, „книжным“ человеком, для того времени передовым. „Муж чюдного рассуждения, в науке книжного поучения доволен, и многоречив зело“,— так отзывались о нем его современники.

Таковы обстоятельства, создавшие двойственность в натуре Грозного. Если бы влияние Макария всецело подчинило себе Ивана, оно бы его пересоздало. Но оно действовало в атмосфере дворца, насквозь отравленной произволом, насилием и развратом. Шуйские и Глинские достаточно позаботились о том, чтобы познакомить Грозного с отрицательными сторонами тогдашнего быта. Грабя и насильничая на его глазах, они и его увлекали за собою к произволу и жестокости. Немногие по числу известия летописей о молодом Иване красноречивы по характеру. Они говорят о его жестокостях, пустых забавах и даже грабительстве. Так описывая путешествие Ивана с его младшим братом Юрием в Новгород и Псков осенью 1546 года, местные летописцы не скрывают своего неудовольствия. Псковичи жалуются, что великий князь в их области дела не делал, а „все гонял на месках“ (то-есть скакал на лошадях), „быв немного“ в самом Пскове; также и брат его недолго побыл в городе, „а не управив своей отчины ничего“. Оба они спешили к Москве, „а христианам много протор и волокиты учинили“. Высочайшее посещение рассматривалось как бедствие. В это же путешествие, в конце ноября 1546 года, Грозный в Новгороде, по местному

известию, ограбил Софийский собор. Он в соборе „неведомо как уведа казну древнюю, сокровенну в стене“. Явившись ночью, стал „он пытати про казну“ ключаря и пономаря и, „много мучив их“, ничего не допытался, но все-таки вскрыл стену „на всходе“ (лестнице), „куда восхождаху на церковные полати“, и нашел там „велие сокровище“ — серебряные слитки — и „насыпав возы и посла к Москве“. Не получив управы у себя в городе, псковичи вслед за Иваном послали в Москву весною 1547 года семьдесят ходоков „жаловатися на наместника“ их князя Турунтая Пронского. Жалобщики нашли великого князя в Коломенском сельце Островке, куда он по обычаю выехал „на прохлад поездити потешитися“. Государь остался недоволен тем, что его обеспокоили, „опалился на псковичь, их бесчествовал, обливаючи вином горячим, палил бороды и волосы да свечею зажигал и повелел их покласти нагих по земли“. И все это делалось в те же месяцы, когда, под руководством Макария, Иван торжественно с умильными речами, обращался к митрополиту и боярам и совет держал с ними, „восхоте бо великий государь женитися и о благословении еже сести на царстве на великом княжении“. Осенью 1546 года совершилось легкомысленное путешествие в Новгород и Псков; в декабре Иван объявил Макарию и всем боярам, даже тем, „которые в опале были, что он женится и хочет венчаться царским венцом“; в январе 1547 года про-

изошло торжественное принятие царского титула; в феврале состоялась свадьба Ивана с дочерью окольничего Романа Юрьевича Захарьина и благочестивое пешее хождение новобрачных в Троице-Сергиев монастырь; а около 1 июня псковские жалобщики испытали на себе глумливую милость и ласку нового царя. Очевидно, высокие слова и пышные идейные церемонии отлично уживались в Грозном с низкими поступками и распущенностью. Воспринятые умом благородные мысли и широкие стремления не облагородили его души и не исцелили его от моральной порчи. Красивым налетом легли они на поверхности, не проникнув внутрь, не сросшись с духовным существом испорченного юноши.

III

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРОЗНОГО РЕФОРМЫ И ТАТАРСКИЙ ВОПРОС.

I.

Пышными церемониями венчания на царство и свадьбы начинается новый период в жизни Ивана. Торжества во дворце по времени почти совпали с рядом больших пожаров в Москве и с народным бунтом и погромом на Глинских. На Пасхе 1547 года выгорел Китай-город; через неделю сгорели кварталы за Яузой; в июне произошел тот громадный пожар, который вызвал погром и получил историческую известность в связи с нравственным „перерождением" Грозного. Выгорел Кремль весь и почти все „посады" Москвы; можно сказать пострадал весь город целиком „и всякие сады выгореша и в огородах всякий овощ и трава"; считали, что сгорело 1.700 человек. Царь уехал в село Воробьево, где и „стоял" до возобновления города. На пожарище же народная толпа искала виновников происшедшего бедствия и нашла их в лице Глинских и их дворни. Одного из Глинских убили и пошли к царю в Воробьево, требуя выдачи других. Царь ответил казнями, и движение улеглось после многих жертв. Все это полугодие 1547 года для Ивана было рядом

сильных переживаний, и не мудренно, что современники именно к этому периоду относили начало внутренней перемены в молодом царе. Очень изобразительно князь А. М. Курбский в своей „Истории о великом князе Московском“ рассказывал, что после пожара и бунта бог чудесно „руку помощи подал отдохнуть земле христианской“: тогда к царю „прииде един муж, презвитер чином, именем Сильвестр, пришелец от Новаграда Великого, претяще ему от бога священными писаньми и срозе (то-есть, строго) заклинающе его страшным божиим имянем, еще к тому и чудеса и акибы явление от бога поведающе ему;... и последовало дело: иже душу его от прокаженных ран исцелил и очистил был, и развращенный ум исправил“. Еще изобразительнее Карамзин представил „перерождение“ Ивана. Воспользовавшись рассказом Курбского, он понял начальное в нем слово „прииде“ в том смысле, что Сильвестр внезапно откуда-то проник к царю, не будучи ему ранее известен. Когда, по словам Карамзина, „юный царь трепетал в Воробьевском дворце своем, а добродетельная (его супруга) Анастасия молилась, явился там какой-то удивительный муж, именем Сильвестр, саном иерей, родом из Новагорода, приблизился к Ивану с подъятым, угрожающим перстом, с видом пророка, и гласом убедительным возвестил ему, что суд божий гремит над главою царя легкомысленного и злострастного,... потряс душу и сердце, овладел воображением, умом юноши и произвел

чудо: Иван сделался иным человеком"... Но в сущности чуда никакого не было, как не было и внезапного появления Сильвестра, столь „усиленного в колорите" (по выражению Д. П. Голохвостова) красноречивым историком. Известно, что Сильвестр был в Москве задолго до событий 1547 года; он прибыл туда, вероятно, в 1542 году вместе с его патроном митрополитом Макарием. С другой стороны, ни по летописям, ни по иным документам не видно крутой перемены в самом Иване после пожара 1547 года. Один Курбский (и то, если его понять, так понял Карамзин) изображает внезапный переворот в душе и поведении молодого царя. Но именно благодаря Курбскому, если сопоставить его слова с официальной летописью, можно догадаться, что народный бунт 1547 года действительно повел к существенной перемене — только не в царе, а в правительстве московском. После бунта окончилось время Глинских и прекратилось их влияние на дела. Народ убил Юрия Глинского, а его брат Михаил Васильевич Глинский, который, по словам Курбского, „был всему злому начальник", убежал из Москвы, как „и другие человекоугодницы сущие с ним". Но и там, куда скрылся Глинский, в Ржевских его селах, он не чувствовал себя безопасным. Вместе с видным сторонником кружка Шуйских князем Ив. Ив. Турунтаем-Пронским он пытался бежать в Литву. Оба они начали побег по первому зимнему пути, в ноябре 1547 г., но запута-

лись „в великих тесных и непроходных теснотах“ глухой Ржевской украйны и не достигли цели. Укрываясь от погони, они сами добрались до Москвы, где и были арестованы. Свой поступок они объясняли боязнью: „от неразумия тот бег учинили, обложася страхом княже Юрьева убийства Глинского“. Однако в ту минуту нечего было бояться погрома: Москва давно успокоилась: царь праздновал свадьбу своего младшего брата Юрия с княжной Палецкой; в те же дни (ноябрь 1547 года) выступил из Москвы авангард московского войска, собранного против Казани, и сам царь собирался ехать к войску. Словом жизнь московская шла уже обычным порядком. А родной государев дядя бежит в Литву вместо того, чтобы веселиться на свадьбе своего младшего племянника, и с ним бежит крупный боярин, принадлежавший к стороне Шуйских, то-есть к тому кругу дворцовой знати, который был далек от Глинских, даже им враждебен, и вовсе не был жертвою народного погрома. Очевидно, не боязнь мятежной толпы гнала беглецов в Литву, а перемена в московском правящем кругу. Около царя вместо компрометированных и низверженных Глинских стали другие доверенные лица. Они были настроены так, что „всему злому начальник“ Михаил Глинский и псковский наместник Турунтай, при Глинских угнетавший псковичей, могли ожидать на себя гонения и надумали от заслуженного возмездия спастись бегством. Курбский со своим обычным риторическим приемом

освещает для читателя вопрос о том, как образовался около Грозного правящий кружок. Рассказав, как „прииде“ к царю Сильвестр, он продолжает: „С ним же (Сильвестром) соединяется во общение един благородный тогда юноша ко доброму и полезному общему, имянем Алексей Адашев; царевиж той Алексей в то время зело любим был и согласен“. Вдвоем Сильвестр и Адашев склонявших Ивана на зло „прежде бывших“ правителей, яже быша зело люты“, удаляют или „уздают и воздержат страхом бога живаго“. А вместо удаленных и сосланных правителей, „оных предреченных прелютейших зверей“, Адашев и Сильвестр во-первых, „присовокупляют себе в помощь“ митрополита Макария, который призывает царя к покаянию и ко внутреннему обновлению, а во-вторых, собирают к нему советников — мужей разумных и совершенных, во старости мастите́й сущих, ... других же аще и во среднем веку, такоже предобрых и храбрых,... и сице ему их в приязнь и в дружбу усвояют, яко без их совету ничесоже устроити или мыслити“. Ясен происшедший дворцовый переворот: народный бунт сверг опеку Глинских; духовным сиротством „злострастного“ царя воспользовались приближенные к нему случайные люди, не входившие в состав ранее правившей знати. Они построили свое влияние на личной приязни и моральном подчинении царя и удалили от него всех прежних опекунов и советников, от дяди Глинского до сторонников Шуйских. Воодушевлен-

ные желанием общего блага, они поставили своей задачей нравственное исправление самого Грозного и улучшение управления. В митрополите Макарии они получили помощника и нередко вдохновителя. Так около Грозного, видевшего до той поры вокруг себя только зло и произвол, образовалась впервые идейная среда. Она оказала могучее влияние не только на ход государственных дел, но и на развитие личных правительственных способностей, которыми бесспорно был одарен Грозный. Но ей не под силу было истребить в нем укоренившиеся с детства дурные инстинкты и привычки.

Можно думать, что образование нового правящего кружка около Грозного, совершилось не сразу, а шло исподволь. Адашеву и Сильвестру удалось сразу сокрушить Глинских и самим укрепить свое влияние при царе, привыкшем к опеке и сотрудничеству в делах управления; но собрать „мужей разумных и совершенных“ и образовать из них согласованный и спевшийся кружок, необходимо было время. По летописям и разрядам 1547 — 1549 годов можно установить, что к осени 1547 г. режим Глинских пал; но признаки новых веяний в правительственной практике становятся заметны только в начале 1549 года. Весь же 1548 год проходит для царя в привычной рутине: зимний поход на Казань без особого результата, богомольные „походы“ летом по монастырям, осенью, „объезд“ на охоту, „на свою царскую потеху“, и по далеким „свя-

тым местам“ Замосковья. Не видно, чтобы государственные дела более, чем прежде, занимали Грозного. Повидимому в это время за его спиною формировалась постепенно „избранная рада“ из людей, привлеченных временщиками Сильвестром и Адашевым, вырабатывалась программа действий, слагались отношения, понемногу связавшие Грозного полною зависимостью пред „собацким собранием“ (так он по-своему называл впоследствии „избранную раду“). Состав этого собрания, к сожалению, точно не известен; но ясно, что он не совпадал ни с составом думы „бояр всех“, исконного государева совета, ни с ближней думою, интимным династическим советом [1]). Это был частный кружок, созданный временщиками для их целей и поставленный ими около царя не в виде учреждения, а как собрание „доброхотающих“ друзей. Во главе этого кружка стоял поп Сильвестр, о котором со всех сторон идут согласные отзывы, что это был всемогущий временщик. Оффициальная летопись говорит: „Бысть же сей священник Селиверст у государя в великом жаловании и в совете в духовном и в думном и бысть яко всемогий, вся его послу-

---

[1]) Личный состав боярской думы „бояр всех“ и ближней думы тех лет нам известен. Ближними боярами были в те годы кн. И. Ф. Мстиславский, кн. В. И. Воротынский, И. В. Шереметев „большой“, кн. Д. И. Курлятев, М. Я. Морозов, кн. Д. Ф. Палецкой, Дан. Ром. Юрьев-Захарьин, В. М. Юрьев - Захарьин. Из них один Курлятев принадлежал к „избранной раде“.

шаху и никтоже смеяше ни в чем же противитися ему... И всеми владяше обема властми, и святительскими и царскими, якоже царь и святитель, точию имени и образа и седалища не имеяше святительского и царского, но поповское имеяше, но токмо чтим добре всеми и владеяше всем со своими советники". Сам царь признавался, что, как младенец, пребывал во всей воле и хотении Сильвестра, которому „покорился без всякого рассуждения". Сильвестр с Адашевым, по словам Грозного, всю власть от него отняли и так угнетали и гнали его, что ему „властию ничим же лучше быти раба". Почин в этом царь приписывал Сильвестру: это Сильвестр подобрал в одно „собацкое собрание" и Адашева и других своих „угодников". С своей стороны, и Курбский считает Сильвестра тем „блаженным льстецом истинным", который первый задумал перевоспитать царя и взять его под опеку „разумных и совершенных" советников. Рядом с ним молодой сверстник Грозного Алексей Адашев, конечно, занимал второе место, хотя, быть может, по служебной близости к царю (он был „комнатным" спальником и стряпчим, то-есть жил при царе) именно Адашев и был проводником того влияния, которое шло от „избранной рады". Не принадлежал Адашев в 1547—1548 года ни к боярству, ни к думным чинам; он был из высшего слоя провинциального (Костромского) дворянства и ко двору попал случайно, всего вероятнее, в числе тех „потешных

робяток", которые были взяты во дворец для игр к маленькому великому князю Ивану. Это и дало повод Грозному сказать, что он не знает, как около него оказался „собака Алексей" еще в дни его детства: „в нашего царствия дворе в юности нашей, не вем каким обычаем из батожников[1]) водворился". По сообщению Грозного, он приблизил к себе Адашева, „взяв сего от гноища", потому что ждал от него „прямой службы" и думал, что он заменит царю изменных „вельмож". Повидимому на придворную карьеру Адашева повлияли его личные качества. Курбский отзывается о нем очень хвалебно, говоря, что он был „отчасти при некоторых нравех ангелам подобен" и настолько совершенен, что „воистинну вере не подобно было бы пред грубыми и мирскими человеки". Когда Адашев был в войсках в Ливонии, то, по словам Курбского, не мало градов Лифляндских готово было сдаться ему „его ради доброты". Много спустя после кончины Адашева, в 1585 году, при начале карьеры Бориса Годунова, в Польше Гнезненский архиепископ Ст. Карнковский, распрашивая московского посланника Лукьяна Новосильцова о Борисе, сравнил его с Адашевым, отозвавшись об Адашеве очень лестно, как о человеке разумном, милостивом и „просужем" (дельном), ко-

---

[1]) Батожник — служитель с батогом (палкой), идущий впереди царского или боярского поезда и расчищающий путь: на севере — церковный сторож с батогом (по Далю).

торый „государство Московское таково же правил“, каково было правление Годунова. Таким образом личные свойства Адашева нашли себе широкую популярность даже за пределами его родины. Из остальных членов „избранной рады“ по имени точно (со слов самого Грозного) известен только князь Дмитрий Курлятев, старый слуга великого князя Василия Ивановича, в 1548 или 1549 году пожалованный в бояре; да почти наверное можно причислить к раде князя Андрея Михайловича Курбского. О других лицах можно лишь гадать. Можно утверждать однако, что судя по общей тенденции рады, в ней преобладал княжеский элемент и, вероятно, княжата из разных удельных линий составляли в ней большинство. Сам Грозный сделал на это намеки в письме к Курбскому, указывая на главные вожделения членов рады. Во-первых, в одном месте своего письма [1]) он определенно под „изменниками“ разумеет „княжат“, когда говорит, что эти изменники прочили престол мимо его сына удельному князю Владимиру Андреевичу. Для него Курбский, есть „рождение изчадия ехиднова“, княжеского рода, и потому сам „яд отрыгает“, то-есть изменяет царю; „вы, злые суще“, говорит царь, разумея удельных князей, „извыкосте от прародителей своих измену чинити“. Известно, что в 1553 году именно избран-

[1]) Русская Историч. Библиотека, XXXI. „Сочинения князя А. М. Курбского“, стр. 28, 30, 55.

ная рада отошла от Грозного, держалась Владимира Андреевича и не желала воцарить малютку сына Грозного. Во-вторых, по сообщению Грозного, как только укрепилось влияние Сильвестра и образовалась избранная рада, Сильвестр „почал" восстановлять свободу „княжеского землевладения", стесненную распоряжениями великого князя Ивана III; „которые вотчины у вас (то-есть, князей) взимали", писал Грозный: „и которым вотчинам еже несть потреба от вас даятися, и те вотчины, ветру подобно, роздал (Сильвестр) неподобно". В переводе на наш язык это значит, что избранная рада поспешила возвратить потомкам удельных князей конфискованные у них родовые вотчины и восстановить свободу отчуждения и завещания этих вотчин, уничтоженную московскими государями. Конечно, этот акт имел вид классовый и обличал чисто княжескую тенденцию рады. К этим определенным намекам Грозного надо прибавить то общее впечатление от его письма, что для царя главными его врагами, стеснявшими его личную свободу и волю, представляются именно князья. „Поп" Сильвестр и Алексей Адашев первые не-князья, которые вместе с князьями пытаются продолжить опеку над Грозным.

Так с полной вероятностью выясняется характер создавшихся вокруг Грозного отношений. Молодой государь подпал личному влиянию „попа" и своего близкого сверстника Адашева. Они были проникнуты желанием оздоровить правительство и подобрать

годных к этому людей. Наиболее пригодную дл государственного управления среду они видели потомстве удельных князей, сохранившем правител ственные навыки и династические воспоминания, в этой именно среде они подыскивали своих совет ников (повидимому, предпочитая Рюриковичей Геди миновичам). Составленная ими „избранная рада" стоявшая вне привычных московских учреждени с большою свободою обдумала план реформ, пред назначенных к водворению порядка в расшатанно во время регентства государстве. Осуществлени этого плана началось в первые месяцы 1549 года.

2.

Февраля 27-го этого года царь „в своих цар ских палатах перед отцом своим Макарием митро политом и пред всем освященным собором" сказа боярам своим особой важности речь. Летописец пе речисляет по именам некоторых знатнейших бояр а затем указывает, что царскую речь слушала вся боярская дума. Предметом речи были злоупотребле ния бояр. Царь говорил, что „до его царского воз расту от них и от их людей детем боярским и кре стьянам чинилися силы и продажи и обиды великие в землях, и в холопех и в иных обидных делех; они бы вперед так не чинили, детем бы боярским и крестьянам от них и от их людей силы и про дажи и обиды во всяких делех не было никоторые,

а кто вперед кому учинит силу или продажу или обиду какую, и тем от меня, царя и великого князя быти во опале и в казни". На это огульчое обвинение дума ответила прилично и с достоинством: бояре все просили, „чтобы государь их пожаловал, сердца на них не держал", они же хотят служить ему и добра хотеть, как служили и добра хотели его отцу и деду; „а которые будут дети боярские и крестьяне на них или на их людей учнут бити челом о каких делех ни буди, и государь бы их пожаловал, давал им и их людем с теми детьми боярскими и со крестьяны суд". Царь их этим пожаловал и заключил беседу словами: „по се время сердца на вас в тех делех не держу и опалы на вас ни на кого не положу, а вы бы впредь так не чинили". В тот же день такую же речь Грозный держал, „воеводам, и княжатам, и боярским детем и дворянам большим", то-есть, высшей московской придворной и административной среде [1]). А на следующий день, 28 февраля, состоялся в присутствии царя и митрополита приговор боярской думы, бывший в тесной

[1]) Это важное известие находится в мало известном летописце и издано не вполне исправно (Полн. Собр. Русск. Летописей, т. XXII, стр. 528 — 529). Повидимому событие 27 февраля, 1549 года послужило поводом к составлению легенды о земском соборе 1547 или 1550 года, когда будто бы царь на площади торжественно говорил всему народу покаянную речь и обещал ему правосудие (Карамзин, „Ист. Гос. Росс.", т. VIII, глава III и примечания 182 и 184).

связи с царскими речами предшествующего дня: царь с боярами „уложил, что во всех городах Московские земли наместникам детей боярских не судити ни в чем, опричь душегубства и татьбы и разбоя с поличным; да и грамоты свои жаловальные послал во все городы детем боярским“.

Именно об этих своих мерах Грозный говорил высшему духовенству на церковном соборе, так называемом „Стоглавом“, в начале 1551 года: „В предыдущее лето бил есми вам челом и с бояры своими о своем согрешении, а бояре также, и вы нас в наших винах благословили и простили; а яз по вашему благословению бояр своих в прежних во всех винах пожаловал и простил, да им же заповедал со всеми хрестьяны царствия своего в прежних во всяких делех помирится на срок; и бояре мои, все приказные люди и кормленщики со всеми землями помирилися во всяких делех. Да благословился есми у вас тогды же Судебник исправити по старине и утвердити, чтобы суд был праведен,... и по вашему благословению Судебник исправил,... да устроил по всем землям моего государства старосты, и целовальники, и соцкие, и пятидесятские по всем градом, и по пригородом, и по волостем и по погостом, и у детей боярских; и уставные грамоты пописал. Се и Судебник пред вами и уставные грамоты, прочтите и рассудите“....

Любопытен во всех этих правительственных мероприятиях моральный элемент. Предпринимая

1549 году реформу местного управления, царь начинает дело обновления с самого себя. Он „бьет челом о своем согрешении“ пред собором иерархов, кается пред ними с обещанием исправиться и ищет прощения, затем зовет к исправлению и примирению бояр и прочих правителей. Он повторяет свою покаянную исповедь в 1551 году пред Стоглавым собором в очень сильной речи, не щадя себя и обличая свои пороки, и снова зовет своих сотрудников к нравственному возрождению. Целью своих административных нововведений он ставит общее благо и стремится к нему не только проповедью покаяния и примирения, но и практическими мерами. Он ограничивает юрисдикцию наместников, вводит присяжных в их суд, дает самоуправление местным обществам, пересматривает Судебник и дополняет его рядом постановлений, направленных к тому, что бы дать торжество правосудию и справедливости. Власть впервые выступает пред народом с ярко выраженными чертами гуманности, с заботою об общем благоденствии.

Таковы были первые шаги Грозного по пути реформ, составивших славу его молодости. С необыкновенным подъемом, деловым и моральным, правительство произвело перемены в местном управлении и доложило о них церковному собору 1551 года, прося его одобрения. За этими первыми мерами последовали дальнейшие. Они коснулись снова местного управления и даровали земству, в дополнение

к первым преобразованиям, право полного самоупра-
вления. Они, далее, внесли ряд перемен в устрой-
ство и управление военных сил государства; они
изменили служебные и бытовые условия служилого
класса; они создали перемены в области финансово-
податной. Насколько во всем этом сказался почин
самого царя и насколько сильно было воздействие
на него избранной рады, определить, конечно, нельзя;
но нет сомнения, что в этой напряженной и систе-
матической работе правительства созрел ум и вос-
питались способности самого Грозного, и он из не-
опытного и распущенного юноши постепенно обра-
тился в способного политика, прошедшего хорошую
практическую школу под руководством „избранной
рады". Когда он развернулся и сформировался, он
не только постиг и усвоил политическое искусство
своих руководителей, но уразумел их классовые
вожделения, — и тогда избранная рада превратилась
для него в „собацкое собрание" и он ушел из-под
ее влияния и изжил тот нравственный подъем, ка-
кой она ему сообщила.

3.

Постепенные успехи нашей историографии рас-
крыли понемногу все содержание и ход преобразо-
вательной деятельности Московского правительства
за годы 1549 — 1556, и теперь возможно дать вкратце

бщий очерк этой деятельности в ее внутренней оследовательности. Как было показано, она началась ероприятиями в области местного управления. Праительство желало искоренить насилия, грабежи и аздоры в управлении наместников („силы, продажи обиды") и для этого воспользовалось теми бытоыми формами земской самодеятельности, какие из ревности существовали в Великоруси.

Земли каждого „уезда" (на которые делилось огда государство) состояли из владений крупных льготных землевладельцев, из мелких поместий „вотчинок" детей боярских и из волостей рестьянских. Крупные вотчины духовенства, князей бояр жили порядком, подобным феодальному. В них администрация и суд принадлежали владельам, и агенты центральной власти к ним не касались, них „не въезжали ни по что". На остальных землях ействовала очень примитивная система „кормлений". От государя в известную часть уезда назначался „наместник" или „волостель" для суда и управления. Он наезжал на место своего назначения со своею дворнею и управлял с помощью своих слуг, собирая а свое содержание „кормы" и „пошлины". Управление соединялось с правом взимания доходов в ользу кормленщика, и на этой то почве и процвеали произвол, незаконные поборы и насилия. Пока кормленщик был у власти, с ним нельзя было бороться; когда же он „съезжал с кормления", за ним следовали в Москву жалобщики и искали на

нем своих обид и убытков. [1]) Правительство нача
с того, что в 1549 году потребовало общей ликв
дации всех таких исков („заповедало на срок пом
ритися во всяких делех“) и решило впредь установ
такой порядок, при котором бы и самых исков
могло возникнуть. Оно исключило детей боярск
из общей компетенции кормленщиков („во вс
городах Московские земли наместникам детей бо
ских не судити ни в чем, опричь душегубства, разб
и татьбы с поличным“). А в крестьянских волост
оно воспользовалось теми формами податной
хозяйственной организации, такие там существова
издавна. Раскладка и взимание податей и повинн
стей, падавших на крестьянские волости общ
окладом, предоставлялись самим плательщика
К этому делу связанная круговой порукой податна
община выбирала целый штат мирских уполномоче
ных, которые ведали все дела, связанные с госуда
ственным „тяглом“. Правительство, в целях контро
кормленщиков, обратилось к этим общинам с треб
ванием обязательного выбора „судных мужей“ д
участия в суде и общим законом (в Судебнике 15
года) постановило, что кормленщики не могут суди
без участия „судных мужей“ и „земского дьячка
(„а без старосты и без целовальников наместник
и волостелем и их тиуном суда не судити“). Но

[1]) Именно таких жалобщиков, пришедших к царю изо Пско
жаловаться на князя Турунтая Пронского, молодой царь жесток
истязал весною 1547 года в селе Островке.

на этом власть не остановилась: она скоро пришла к мысли о необходимости общей замены архаических кормлений другими формами местного управления, более соответствующими потребностям времени. По-видимому различные виды земского самоуправления, бытовым порядком возникшие изстари в северной половине государства и работавшие успешно, навели московских реформаторов на мысль основать местное управление всецело на начале самоуправления. И вот в 1552 году осенью, после Казанского похода, царь, празднуя победу над татарами, сыпал милости и награды, „а кормлении государь пожаловал всю землю". Это значило, что царь объявил о своем решении отменить кормления и перейти на новый порядок местного управления, более льготный и приятный для населения. Об этом-то порядке и надлежало подумать. Отправляясь, по обычаю, крестить своего новорожденного сына Дмитрия в Троицком монастыре, Грозный в исходе 1552 года приказал боярам в его отсутствие в думе „сидети о кормлениях", то-есть обсудить последствия их отмены и способ нового управления, уездами. Как кажется, дело сразу не пошло. Царь нашел, что бояре приступили к делу своекорыстно и „возжелеша богатства: захотели из отмены кормлений прежде всего извлечь выгоды для себя, для своего класса кормленщиков. Чтобы понять это обстоятельство, надобно помнить, что уничтожение старой системы порождало две заботы: первую — о том, кем заменить в уезде кормленщиков

и кому передать их ведомство, а вторую — о том, чем возместить лицам, имеющим право на кормление, те доходы, которых они лишались с потерею этого права. Бояре заинтересовались, по мнению Грозного, именно этою последнею стороною вопроса. Быть может, в ней и надо искать причины задержки в решении дела. По летописи, оно было решено только в 1556 году, когда последовал „приговор царский о кормлениях", чтобы кормлениям не быть, а вместо них быть в волостях и уездах выборным властям из местного населения. Вместе с тем на те города и волости, которые переходили на самоуправление, царь указал, сверх обычных податей, „положити оброки по их промыслом и по землям и те оброки сбирати к царьским казнам своим дьяком". Стало быть, вместо расходов, падавших на население для содержания кормленщиков, назначался теперь оброк („кормленый окуп") в государственную казну. Из этого нового финансового поступления государь получал средства для возмещения кормленщикам потерянных ими „кормов" и „пошлин". Летопись говорит об этом, что государь „бояр же и вельмож и всех воинов устроил кормлением — праведными уроки", то есть, ежегодным денежным окладом одних, а других „в четвертой год, а иных в третий год денежным жалованием". Так разрешен был вопрос о местном управлении в законе.

На практике разрешение это получило такой вид. Населению той или иной местности предоставлялось

просить государя об отозвании наместника или волостеля, сидевшего там на кормлении, и о переходе на самоуправление в той или иной форме. На просьбу следовал государев указ выборному старосте, бывшему при кормленщике: „Как к тебе ся наша грамота придет, и ты б наместнику (такому-то) с нашего жалованья (с такой-то местности) велел съехати и в наместничьи ни в которые доходы (с такого-то срока) вступатись ему и его людям не давал; а ведал бы наместничьи всякие доходы... и людей во всяких делех судил и пошлины с судных дел сбирал ты (староста); и целовальников [1]) бы еси к наместничью доходу выбрал... и сбирая наместнича доходу, деньги присылал к нам к Москве". Это случай наиболее простой, относящийся к месту со сплошным тяглым, в классовом отношении однородным населением. Власть московская пользовалась здесь готовою, старинною формою податного самоуправления. Если податная община желала взять на себя не только финансовые дела, которые давно ведала, но и суд и полицию, которые ведал кормленщик, то ей передавалась в сущности вся администрация, обнимавшая все стороны земской жизни. Органами такого наиболее полного самоуправления были „излюбленные старосты", „излюбленные головы", „земские судьи" с их „целовальниками",

[1]) Это были присяжные, название которых произошло от того, что их приводили „к крестному целованью в том, что им доходы и прибыль сбирати в правду, безо всякие хитрости".

„судецкими старостами“, „людьми добрыми“ и иными блюстителями порядка и закона. Более сложная форма земского самоуправления получалась там, где в одном земском округе („губе“) соединялось население тяглое со служилым, с детьми боярскими. Там тяглые общины, входившие в состав „губы“, оставались в прежнем виде и ведали, в лице своих „земских старост“, хозяйственно-податные дела, а суд и полиция, бывшие в руках кормленщика, передавались особому, избранному из детей боярских, „губному старосте“. Ему в помощь избирались „целовальники“ и „дьяк“, составлявшие особое присутствие — „губную избу“. Выросшие на старом земском корню, все эти виды самоуправляющихся общин сохранили в себе местные особенности и достигали иногда большой внутренней сложности. В сущности земская реформа Грозного свелась к тому, что сняла с неселения чуждый ему элемент — пришлых кармленщиков с их корыстной и грубою дворней — и освятила ту самодеятельность населения, которая сохранилась от времен уделов с их слабыми княжескими дворами. Правительственный интерес в уездах после отмены кормлений охранялся специальными агентами власти — „городовыми прикащими“, „писцами“, „дозорщиками“. Все же текущие функции управления были в руках местных организаций, получивших с реформою значение государственное.

4.

Реформа местного управления стояла в тесной связи с преобразованиями в сфере военно-служилой. Как только в правительстве родилась мысль об ограничении полномочий наместников и об отмене кормлений, она должна была вызвать другую мысль — о лучшем устройстве и обеспечении служилого класса, из коего выходили кормленщики. Начиная с 1550 года и до 1556, одно за другим следуют мероприятия, направленные к улучшению внутренней организации военно-служилого сословия и его службы, к упорядочению его землевладения, к поднятію военной техники. К сожалению, нет возможности восстановить ход преобразовательной мысли в этой сфере правительственного творчества. Известны только отдельные меры, и притом не всегда в их точном, оффициальном виде: до нашего времени о некоторых из них дошел только летописный, порой не вразумительный рассказ. Первым по времени мероприятием, касавшимся служилого класса, был „приговор" 3-го октября 1550 года о том, чтобы образовать особый разряд „помещиков детей боярских лучших слуг", числом тысячу человек, и поместить их на землях кругом Москвы. Эти „тысячники", записанные в особую „Тысячную книгу", должны были „быть готовы в посылки", административные и диплома-

тические, и должны были нести службу в столице, составляя „царев и великого князя полк“ (то-есть, гвардию). Из их среды составлялся придворный штат; они же по общему ходу дел обратились в правительственную среду, поставлявшую лиц на руководящие должности по гражданскому и военному управлению. Всего в состав „тысячи“ вошло 1078 человек помещиков и вотчинников, образовавших собою столичное дворянство — вершину и цвет служилого сословия. Такова была первая мера. Одновременно с нею и непосредственно за нею шли меры относительно ратного строя. В том же 1550 году состоялся „приговор государев“ об ограничении местничества во время полковой службы. В последующие годы, во время военных операций против Казани, был принят ряд мер „о устроении в полках“: рать была поделена на сотни; во главе сотен поставлены „головы“ из лучших воинов, „из великих отцов детей, изящных молодцов и искусных ратному делу“. Целью при этом было поднятие дисциплины, и повидимому цель была достигнута: Грозный не раз отмечал, что в походе на Казань 1552 года дисциплина и боевой дух в его войске поднялись до высокого уровня. Можно предположить, что образцом для деления войска на сотни послужило новое устройство московских „выборных стрельцов“ — гарнизонной пехоты. В 1550 году их было в Москве образовано шесть „статей“ по 500 человек в каждой; у каждой статьи был начальник из детей боярских;

статьи делились на сотни, „да с ними головы“ — „у ста человек сын боярской в сотниках“. В 1556 году последовало, одновременно с отменою кормлений, и общее распоряжение „о службе всем людем, как им вперед служити“. Оно явилось, как результат „в поместьях землемерия“, учиненного повсеместно для приведения в порядок служилого землевладения. Когда „писцы“ и „мерщики“ распределили правильно землю между помещиками, отняв лишки у одних и обеспечив до нормы других, тогда царь указал общий для всех размер службы: „со ста четвертей добрые угожей земли (то-есть, со 150 десятин в трех полях) человек на коне и в доспесе в полном, а в дальный поход о дву конь“. Всякий, кто имел право на больший, чем 150 десятин, размер поместья, должен был давать лишних ратников из своих крестьян по тому же рассчету: со ста четвертей конный воин. Кто давал людей сверх указанной нормы, тот имел право на дополнительное „денежное жалованье“. Это общее „уложение“ вносило порядок и правильность в отбывание ратной службы и давало правительству возможность точного учета его ратных сил. К такому же учету стремилось правительство, составляя в те же годы „родословец“ всех видных родов московской знати и высшего слоя дворянства и редактируя оффициальную „разрядную книгу“ с записью служебных назначений на важнейшие должности с 1475 года. Вся совокупность перечисленных мер вела к упорядочению службы, уравнению служебных тягот и

вознаграждения за службу и таким образом охватывала все стороны военной организации государства.

В прямой связи с военными и административными нововведениями стояли и мероприятия в области финансовой. Было указано, что для уравнения служебных тягот детей боярских решено было привести в порядок их землевладение. Мысль о необходимости справедливости и порядка в этой сфере очень занимала самого Ивана. Сохранилась его записка, направленная к Стоглавому собору, где он пишет: „Да приговорил есми писцов послати во всю свою землю писать и сметити и мои, царя великого князя, и митрополичи, и владычни и монастырские и церковые земли, княжеские, и боярские, и вотчинные, и поместные и черные... всякие, чьи ни буди, а мерити пашенная земля и не пашенная, и луги, и лес, и всякие угодья смечати и писати... для того, чтобы вперед тяжа не была о водах и о землях: что кому дано, тот тем и владей... и яз ведаю, чем кого пожаловати, и кто чем нужен, и кто с чего служит, и то мне будет ведомо же, и жилое и пустое“. Этот царский приговор о „землемерии“ был тогда же, в 50-х годах XVI века, приведен в исполнение. Общая перепись земель („письмо“) была предпринята и исполнена и на ее основании были проведены двоякие меры. Во-первых, пересмотрен порядок поместного владения служилых людей и произведен учет вотчинных (наслед-

ственных) земель; во-вторых, проведены существенные перемены в технике податного обложения и введена новая податная единица („соха“ в 600 и 800 четей). И то, и другое имело целью справедливое уравнение землевладельцев в их службах, платежах и повинностях. Нет нужды останавливаться на технических подробностях этого дела; надо только заметить, что, как и в других областях, так и в этой аграрной и финансовой, деятельность правительства отличалась широким размахом и руководилась стремлением к общему благу и справедливости. Она повела к переменам не только на местах — в способах обложения и в распределении налогового бремени, но и в центре — в органах финансовой администрации, где наряду с исстаринным центральным финансовым учреждением „Большим Дворцом“ возникли другие — в виде „Большого прихода“ и „Четей“. На усложнение финансового управления в центре особенно повлияло введение „кормленного окупа“ или „оброка“ за отмену кормленщиков с их „кормами“. Определяемый на основании нового „письма“ сбор с перешедших на самоуправление общин доставлялся в Москву под названием оброка „за наместничь доход и за присуд“ и поступал „к царским казнам“ в ведение особых дьяков. Эти дьяки получили название „четвертных“, а их ведомства название „Четей“. Из Четей и получали свои „праведные уроки“ те служилые люди, которые лишились кормлений и были переведены на денежное

жалованье. По имени учреждений, куда они были „пущены в честь“ для получения „четвертных денег“, эти лица получили наименование „четвертчиков“.

5.

Мы охватим все стороны преобразовательной работы Грозного и его избранной рады, если вспомним Стоглавый собор. Созванный по делам церковным в начале 1551 года, собор получил более широкое значение — государственного совещательного органа, которому царь представил на одобрение свой Судебник и „уставные грамоты“, содержавшие в себе начала его земской реформы. Что это не была только формальность, ясно из того, как редактировал царь свои вопросы собору по земским делам. Он не только сообщал собору о сделанном, но и просил обсудить и решить то или иное дело: „о сем посоветуйте все вкупе и уложите, как вперед тому делу быть“; „возрите в дедовы и в батьковы уставные книги, каков был указ“. Он просит отцов собора не только „благословения“, но и подписей „на Судебнике и на уставной грамоте, которой в казне быти“, чтобы закон получил санкцию и церковной власти. По его мнению необходимо вообще единение властей, церковных и светских, в деле государственного обновления, и он выражает намерение обращаться к собору со всем тем, „что наши

нужи или которые земские нестроения". Правильно поэтому некоторые исследователи называют Стоглавый собор не просто церковным, а „церковно-земским" собором. Программа его в области церковного строения была так же широка, как широка была программа государственных преобразований тех лет. По выражению Е. Е. Голубинского, в основе собора лежала „великая мысль совершить обновление церкви путем соборного, законодательства". И действительно все стороны церковной жизни московской были охвачены собором: церковное богослужение, епархиальное архиерейское управление и суд, быт духовенства белого, жизнь монастырей и монашества, христианская жизнь мирян, внешнее благочиние — все вошло в круг суждения собора. И результатом этого суждения была целая книга „Стоглав" — „соборное уложение, по которому имели на будущее время производиться церковное управление и совершаться церковный суд" (слова Голубинского).

Напряжение правительственной деятельности вызвало и работу общественной мысли в Москве. Эпоха преобразований сказалась в тогдашней письменности обилием публицистических произведений, посвященных вопросам текущей московской жизни. Обсуждалась и осуждалась система кормлений, которая „дает городы и волости держати вельможам, и вельможи от слез и от крови роду христианского богатеют нечистым собранием". Указывался пример

„Махмет-салтана, турецкого царя“, который „никому ни в котором граде наместничества не дал“ а „оброчил вельмож своих из казны своей“. Словом, предлагался проект той самой реформы, которая совершилась на деле. Обсуждались далее способы устройства военной силы, параллельно с теми мерами, какие принимал Грозный для упорядочения своих войск. Ставились и решались общие вопросы управления и царю рекомендовалось править не только по собственному разуму, но и с участием разумных советников: „царю достоит не простовати — с советники совет совещевати о всяком деле“, „царем с бояры и с ближними приятели о всем советовати накрепко“. Иногда высказывалась даже мысль о необходимости для государя „беспрестанно всегда держати погодно при себе“ широкий совет „всяких людей“ „от всех градов своих“; иначе говоря, указывалось на необходимость созыва земских представителей „всея земли“. Вопросы государственной практики сплетались у писателей с темами моральными, и любопытно, что вся текущая письменность того времени как-бы переживала такой же нравственный подъем, какой переживал молодой Иван. Трудно определить, насколько зависели преобразования Грозного от литературных на него воздействий, и насколько литературные мотивы являлись следствием государственной работы „избранной рады“ и самого царя. Хронология публицистических трактатов не может быть точно определена, авторы их не всегда известны.

Поэтому нельзя установить причинной связи и взаимной последовательности литературного слова и государственного дела. Но взятые в совокупности своей они производят сильное впечатление и рисуют время реформ Грозного чрезвычайно яркими красками.

6.

Достоинства московского правительства выразились и в его внешней политике. В первой половине XVI века вопрос о Казанском „царстве“ для Москвы стал ребром. Основанное татарами на территории старого Болгарского царства, Казанское государство не отличалось внутренней прочностью. В нем властвовало и ссорилось небольшое число аристократических родов, „мурз“ и „беков“, которые держали Казань в состоянии постоянного междоусобия. Инородческие племена, вошедшие в состав „царства“, не слишком дорожили татарской властью и легко отлагались от Казани, но столь же легко и возвращались в ее подданство. Казанское правительство при всей своей слабости могло однако содействовать развитию торговли на Волге и этим привязывало к себе приволжское население. С другой стороны, колонизационный натиск русского племени на Черемисские и Мордовские земли в Поволжьи заставлял черемису и мордву искать в Казани оплота против русских, и татары умели оказать им действительную помощь. Они превращали

оборонительную войну в наступательную и обрушивались „изгоном“ на русские окраины, разоряя жилища и пашни и уводя „полон“. Черемисская „война жила без перестани“ в русском Заволжьи; она не только угнетала хозяйство земледельцев, но засоряла торговые и колонизационные пути. Сообщение Московского центра с русским северо-востоком, с Вяткою и Пермью, должно было совершаться обходом далеко на север. Москва считала Казань опасным и досадным врагом. Другие татарские орды не соседили с Москвой; они находились за „диким полем“; от них можно было усторожиться. Казань же была в непосредственном соседстве и, хотя до нее самой было не близко, но близки были те инородческие „языки“, которыми она руководила и которых объединяла племенной и религиозной враждой в борьбе с Русью. Соседство это дорого давалось русскому населению, и не даром оно пело в своих песнях, что „Казань-город на костях стоит, Казаночка речка кровава течет“.

Когда в начале XVI столетия для Московского правительства стала ясна картина Казанских междоусобий, оно попыталось вмешаться в них и из них извлечь свою пользу. Во-первых, оно при всякой возможности снаряжало войско для похода на самую Казань. Русские появлялись под стенами Казани, громили ее окрестности, штурмовали самый город; но не могли долго держаться под Казанью, не имея базы для действий, вдали от своих границ, среди

беспокойного и враждебного инородческого населения. Чтобы устроить такую базу, Василий III в 1523 году основал на устьи р. Суры город Василь (Васильсурск) и посадил в нем гарнизон. Во-вторых, Московское правительство попыталось образовать в самой Казани, среди взаимно враждовавших дворцовых групп русскую партию и с ее помощью ставить в Казани преданных Москве ханов. Это иногда удавалось, но Московские ставленники обычно не удерживались на престоле, и Москве оставалось утешаться тем, что ее политика вела к чрезвычайному усилению Казанской смуты и тем окончательно ослабляла врага. Ко времени, когда вырос Грозный и около него стала рада, Казанский вопрос назрел настолько, что не следовало медлить с его окончательным решением. Грозный это понял. Действия против Казани происходили ежегодно с тех пор, как оттуда в 1546 году прогнали данного Москвою хана Шейхали (Шигалея). Московские войска обычным порядком появлялись под Казанью не на долгое время и возвращалась назад. В 1550 году обычный поход привел самого Грозного, лично бывшего под Казанью, к важному решению. Остановившись на устье р. Свияги на так называемой Круглой горе (можно сказать, в виду самой Казани), Грозный по совету с Шигалеем решил устроить здесь военную базу „Казанского для дела и тесноту бы учинити Казанской земли“. С этого момента и началось систематическое завоевание Казани. На 1551 год

предположен был широкий план. Ранней весною на верхнюю Волгу, в Угличский уезд, был послан дьяк Выродков готовить лес для Свияжской крепости („церквей и города рубити“) и сплавить этот лес по Волге с воеводами, под их охраною, на устье Свияги. Тогда же под Казань собраны были войска „в судех“, то-есть речным путем по Оке и Волге, и „полем“, то есть правым берегом Волги от Нижнего-Новгорода. Сверх того на Казань были направлены отряды с Камы и Вятки. Таким образом Казань была окружена со всех сторон и не могла сосредоточить свои силы для сопротивления на Свияге. В мае 1551 года московский авангард уже был под Казанью и внезапным нападением погромил Казанский посад (поселок под стенами крепости). Затем на Свиягу подошла главная московская рать и началась постройка крепости на Круглой горе. Сплавленного из Угличских мест леса хватило только „на половину тое горы“; другую половину города „своими людьми тотчас сделали“ на месте и „свершили город в четыре недели“. Когда поспела эта крепость-база, ее наполнили всякого рода запасом, военным и продовольственным, и этим закончили операцию.

Основание Свияжского города имело важные следствия. „Горнии люди“, то-есть Чуваша и Черемиса, жившие на правом берегу Волги учли московский успех и явились к Свияжску с изъявлением покорности и желания служить Москве. Для поверки их настроения их послали в поиск под стены Казани,

где их татары побили; а затем их старшины ездили в Москву к государю, где их угощали и дарили. За „горними людьми" учла значение Свияжска и самая Казань. Татары вступили в переговоры с московскими воеводами и сдались на волю Москвы. Они выдали своего двухлетнего хана Утемишь-Гирея и били челом, чтобы Грозный вернул им свергнутого ими хана Шигалея. Грозный согласился и „пожаловал государь царя Шигалея Казанию". Но при этом в Москве решили разделить Казанское ханство: Шигалей получил „Луговую сторону всю да Арскую; а Горняя вся сторона к Свияжскому городу, понеже государь божием милосердием да саблею взял до их челобитья". Это решение не понравилось ни Шигалею, ни казанцам. „Царь Шигалей государево дело похвалил, а того не залюбил, что Горняя сторона будет у Свияжского города, а не у него в Казани". И Казанские послы говорили боярам, что „того им учинити не мощно, что земля разделить". Однако Москва настояла на своем. Утемишь-Гирей с матерью его Сююнбекой был доставлен в Москву; весь русский полон освобожден от неволи; [1]) Шигалей был боярами посажен в Казани на царство.

[1]) Боярам было выдано в Казани сразу 2.700 русских пленников; а всего, по Московскому счету, возвратились на Русь из Казанского царства 60.000 человек только через Свияжск „вверх Волгою", не считая тех, кто вернулся иным путем — на Вятку, Пермь, Вологду: „все по своим местом, кому куды ближе, туды пошли".

Казалось, дело пришло к окончательному решению и Москва торжествовала.

Но скоро начались новые осложнения. Шигалей возбудил общую ненависть в Казани тем, что, укрепляя свою власть, „загрубил казанцам добре“: убил сто человек из враждебной ему знати. Но „грубость“ обратилась против него, и он понял, что ему „прожить в Казани не мощно“. Из Москвы ему дали совет ввести в Казань московский гарнизон, но он отказался: „бусурман де есми, не хочу на свою веру стати“. Тогда в Москве созрело решение не поддерживать более Шигалея, а склонить казанцев принять вместо хана государева наместника, который бы держал Казань в порядке военной силой, и содействовал окончательному выводу из ханства остатков русского полона, так как татары „куют и по ямам полон хоронят“. После переговоров с Шигалеем и с теми кругами в Казани, которые шли на подчинение Москве, в феврале 1552 года Грозный послал в Казань Алексея Адашева свести Шигалея и вместо него назначил наместником князя С. И. Микулинского. Но в последнюю минуту, пред самым въездом в Казань Микулинского, казанцы „изменили“, затворили город и отказались повиноваться Московскому государю. Во всем крае вспыхнула война. Казанцы подняли против русских не только луговую сторону, но и „горних людей“, так что Свияжск оказался в осаде. Москве предстояла тяжелая кампания. Дело осложнялось еще тем, что казанцы снеслись с дру-

гими татарскими центрами, получили из Ногайской орды воинскую помощь и хана Едигер-Магмета, которого и посадили вместо Шигалея в Казань; кроме того, они просили помощи и у Крыма.

Еще с ранней весны 1552 года Москва приняла некоторые военные меры. В Свияжск было послано подкрепление гарнизону, болевшему там цынгою. На всех сообщениях Казани („по всем перевозам“ на Каме, Вятке и Волге) были поставлены отряды, „чтобы воинские люди в Казань да ни из Казани не ходили“. В самой Москве шла работа по мобилизации возможно больших сил. Было решено одну рать послать Окою и Волгою в судах к Свияжску, другой идти сухим путем с Коломны на Муром и Свияжск. Тяжелая артиллерия была заблаговременно отправлена водою. Сам Грозный собирался в поход со своим полком вместе с сухопутною ратью. В июне началось движение сухопутной рати на Коломну, но не спешное, так как ожидали возможного нападения крымцев на южные окраины Руси. Эти ожидания сбылись. Крымский хан подошел к Туле и осадил ее, но был вскоре отражен отрядами посланными из Коломны. Только тогда, когда уверились, что крымцы убежали домой и всякая опасность с юга миновала, московская рать двинулась с Коломны на восток, через „поле“ к Свияжску, куда прибыла только в середине августа. Здесь сказалось все значение Свияжского города, „во-истину зело прекрасного“, как выражается Курбский. Рать пришла туда „яко в

свои домы от того долгого и зело нужного пути". В Свияжске, по сообщению Курбского, был всего достаток, чего бы душа не восхотела. Туда было доставлено водою огромное количество провианта, даже явилось „купцов бесчисленное множество" со всяким товаром. Оттуда и была начата правильная осада Казани, шедшая около полутора месяца. Дело было подготовлено предусмотрительно и к нему были применены все правила тогдашнего осадного искусства. Осаждающие шли к городу траншеями, в которых располагалась пехота с огнестрельным оружием. Осадная артиллерия действовала не только с закрытых батарейных позиций, но даже с „вежи" — подвижной деревянной башни, на которую подняли 10 крупных орудий и 50 мелких пушек. Против стен крепости пустили в ход подкопы — дело новое для московской техники. Впервые московские люди познакомились с минным делом и испытали на себе его вред в 1535 году, когда литовские войска с помощью подкопа взяли Стародуб. Гарнизон Стародуба потому „того лукавства подкопывания не познал, что наперед того в наших странах не бывало подкопывания". Прошло всего пятнадцать лет, и у Москвы явились свои „подкопщики". Под Казанью Грозный имел „немчина, именуема Размысла [1]),

[1]) Карамзин принял летописное слово „Размысла" за имя нарицательное и пояснил: „немецкому размыслу, то-есть инженеру". В словарях Срезневского и Даля „размысл" имеет не-

хитра, навычна градскому разорению", и поручил ему вести подкопы. Их вели несколько сразу, причем царь спешил с ним: он велел Размыслу на меньшие подкопы „учеников отставити, а самому большего дела беречи", чтобы поспеть скорее к развязке. Развязка последовала 2-го октября; после взрыва главного подкопа русские проникли в крепость и взяли ее. Казанское царство пало и Казань стала русским городом.

Хотя Грозный и упрекал бояр за то, что они „поотложили Казанское строение" (после взятия самой Казани мало заботились об устройстве завоеванного края), однако Москва хорошо воспользовалась одержанной победою. Среднее Поволжье было прочно закреплено за Москвой рядом крепостей, поставленных в инородческих областях, и энергической колонизацией вновь приобретенных хлебородных пространств в Поволжьи. Прошло всего два-три десятилетия со времени „Казанского взятья", и самая Казань, и все Волжское побережье до самой Астрахани стали русскою страной. До Астрахани русские отряды добрались тотчас же по взятии Казанского царства и, воспользовавшись распрями в среде ногайских князьков, в 1556 году заняли Астрахань „на государя". Укрепившись в этом городе „как им

сколько значений, но ни одного в смысле „инженера". Вероятнее, „Размысл" есть испорченная фамилия „Размуссен". Датский гонец Peter Rasmussen в 1602 году в Москве именовался „Петр Размысл".

бесстрашно сидеть“, московские воеводы „по Волге казаков и стрельцов расставили и отняли всю волю у ногай и у астраханцев рыбные ловли и перевозы все“. Таким образом выход в Каспийское море, на азиатские рынки, оказался в полном распоряжении Москвы.

Блеск побед, одержанных над вековыми врагами татарами, уничтожение постоянной опасности для русских поселений от татарской и черемисской „войны“, приобретение новых богатых земель для русского хозяйства и Волжского пути для русской торговли — все это было учтено и доставило Грозному необыкновенную славу. От риторического произведения московского книжника до бесхитросной народной песни, во всех произведениях слова молодой московский царь прославлялся, как герой. До народного слуха не доходили суждения о личном малодушии Грозного в тяжелые минуты общего штурма Казани, когда, по словам Курбского, у царя от страха изменилось будто бы лицо и сокрушилось сердце и надобно было другим взять за повод его коня, чтобы подвести царя к месту боя. С этою славою Грозный вошел в последующие годы своей жизни и деятельности.

IV

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД.

1.

Казанский поход 1552 года и последовавшая за ним тяжелая болезнь Грозного (в марте 1553 года) повидимому произвели перелом во внутреннем настроении царя. Он возмужал от необычных переживаний кровавой борьбы, от впечатлений путешествия по инородческому краю к далекой Казани, от выпавшего на его долю блестящего политического успеха. Сознание своего личного главенства в громадном предприятии должно было в глазах Грозного поднять его собственную цену, развить самолюбие и самомнение. А между тем окружающие его сотрудники и друзья, „рада“ попа Сильвестра, продолжали смотреть на царя, как руководители и опекуны. В дни наибольшего торжества своего под Казанью Грозный, по его словам, еще испытывал на себе всю силу влияния окружающих. Обратный путь от Казани в Москву царю пришлось совершить не так, как бы он хотел; он говорит, что его „аки пленника всадив в судно, везяху с малейшими людьми сквозе безбожную и неверную землю“. Действительно Грозный плыл от Казани до Нижнего Волгой

и лишь от Нижнего поехал „на конех“. Ему казалось, что люди, заставившие его избрать такой маршрут, рисковали его жизнью, дав ему малый конвой в незамиренных инородческих областях от Казани до Васильсурска и Нижнего; в негодовании он восклицал: „нашу душу во иноплеменных руки тщатся предати“. Если под Казанью Грозный уже тяготился опекою, то в Москве в торжествах, которые следовали по случаю победы, в чаду похвал, благодарений и личного триумфа, молодой царь должен был стать еще чувствительнее к проявлениям опеки. Именно таково должно было быть настроение Грозного, когда он тяжко-захворал, и его советники, привыкшие руководить царем, стали лицом к лицу с возможностью потерять его, а с ним потерять и свое влияние. В критические дни, когда ожидали скорой кончины царя, встревоженный кружок Сильвестра и Адашева проявил больше заботы о своем будущем, чем преданности умиравшему царю и его семье. Грозный это узнал и оценил, и тяготившая его опека стала ему ненавистна.

Вот что произошло в роковые дни царской болезни. По старому русскому обычаю, трудно больному царю прямо сказали, что он „труден“, и государев дьяк Иван Михайлов „воспомянул государю о духовной“. Царь повелел „духовную совершити“ и в ней завещал царство своему сыну князю Дмитрию, родившемуся во время Казанского похода и бывшему еще „в пеленицах“. Кроме Дмитрия, в царской семье

было два князя: брат родной царя Юрий Васильевич и брат его двоюродный Владимир Андреевич (сын загубленного великой княгиней Еленой удельного Старицкого князя). Ни Юрий, ни Владимир не могли, по московскому порядку, наследовать царю, так как Москва уже твердо держалась наследования по прямой нисходящей. Тотчас по составлении духовного завещания Иван привел ко кресту „на царевичево княже-Дмитриево имя“ свою „ближнюю думу“, и бояре при самом царе с полною готовностью присягнули. Отсутствовал только князь Д. И. Курлятев, сказавшись больным. Это был член „избранной рады“, именно тот „единомысленник“ Сильвестра, которого Сильвестр, по словам Грозного, к царю „в синклитию припустил“, то-есть провел в ближние бояре. После того, как царь „приводил к целованию бояр своих ближних“, на другой день „призвал государь бояр своих всех“ и лично, сообщив им о своем завещании, просил их присягнуть Дмитрию. Но он желал, чтобы присяга шла не при нем, ибо ему было „истомно“, а при его ближних боярах, в „Передней избе“ дворца. В эту минуту и произошло неожиданное для Грозного осложнение. Бояре при тяжелом больном устроили „брань велию и крик и шум велик“. Они не хотели „пеленичнику служити“ и говорили царю, что при малолетстве Дмитрия править будут его родные по матери Захарьины-Юрьевы, „а мы уже от бояр до твоего возрасту беды видели многие“, „а Захарьиным нам, Данилу

с братией, не служивати“. Грозному пришлось сказать „жестокое слово“: он от одних потребовал присяги; другим напомнил, что они уже целовали крест и должны стать за его сына и „не дать боярам сына моего извести никоторыми обычаи“; а Захарьиным (брату царской жены Данилу Романовичу и его двоюродному брату Василию Михайловичу) государь молвил: „а вы Захарьины, чего испужалися? али чаете, бояре вас пощадят? вы от бояр первые мертвецы будете! и вы бы за сына за моего да и за матерь его умерли, а жены моей на поругание боярам не дали“. В конце концов бояре ушли в Переднюю избу и там после многих перекоров и „мятежа“ все присягнули Дмитрию. После этого Грозный велел привести к присяге в своем присутствии и князя Владимира Андреевича Старицкого. Но и тот едва согласился присягнуть малютке-племяннику, несмотря на угрозы государя и уговоры бояр; да и мать князя Владимира княгиня Ефросиния едва согласилась привесить к присяжной записи своего сына его княжую печать.

Когда Грозный встретил неожиданное сопротивление в вопросе о воцарении его сына, то между прочим сказал боярам: „коли вы сыну моему Дмитрию креста не целуете, ино то у вас иной государь есть“? Недолго было Грозному ждать ответа на этот вопрос. Тотчас же выяснилось, что другой „государь“ был действительно боярами намечен. Это не был князь Юрий Васильевич, ибо о нем никакой речи не ве-

лось по его малоумию [1]). Это был именно князь Владимир Старицкий. Грозный собрал много сведений по этому делу. Он удостоверился что князь Курлятев уклонился будто бы по болезни от присяги вместе с другими ближними боярами, так как вел переговоры с князем Владимиром, „хотя его на государство“. Грозному, далее, стало известно, что сам Сильвестр стоял на стороне Владимира и ссорился из-за него с ближними боярами. Узнал затем Грозный, что его ближний боярин, слуга его отца, князь Д. Ф. Палецкий, поцеловав крест Дмитрию, сейчас же завел сношения с Владимиром, как с будущим царем, о том, чтобы по воцарении тот не обидел уделом малоумного князя Юрия Васильевича, бывшего в свойстве с Палецким. Наконец, на глазах самого Грозного отец его любимца Адашева „почал говорити“ против царской родни Захарьиных-Юрьевых, значит, не желал воцарения Дмитрия. Все эти сведения потрясли душу Грозного. Они вскрыли пред ним, больным, то, чего он не узнал бы здоровым. Его друзья и сотрудники, служа ему, не любили его семьи и в трудную минуту чуть не открыто ей изменили. В трудную минуту они не

---

[1]) Если бы Юрий был деееспособен, он был бы главным соперником племяннику своему Дмитрию. Но он был невменяем. Курбский о нем прямо говорит, что он „был без ума и без памяти и бессловесен: тако же, аки див якой, родился“. До самой смерти (1563 г.) он не помянут ни в каком деле — ни в актах, ни в летописях.

постеснились выразить самому Грозному свои чувства, далеко не приятные для него, и указали ему на опасное для него значение в династии незначительного удельного князя Владимира. „И оттоле, говорит официальная летопись, бысть вражда велия государю со князем Владимиром Андреевичем, а в боярах смута и мятеж“.

2.

Грозный выздоровел к маю 1553 года, а его маленький сын Дмитрий, ставший предметом дворцовой распри, утонул в июне того же года. Вся суета с завещанием Грозного и с присягой Дмитрию таким образом оказалась напрасною. Но последствия ее были тяжки. Она сделала явной и очень обострила вражду бояр — „избранной рады“ с одной стороны и „ближних бояр“ и царицыной родни с другой. Повидимому, эта вражда побудила даже к попыткам бегства в Литву тех лиц, которые считали себя небезопасными в Москве. Именно летом 1554 года царю стало известно о покушении целого кружка бояр изменить Москве и уйти „к королю“. Во главе дела стоял боярин князь Семен Васильевич Лобанов-Ростовский, а с ним в уговоре были „братья его и племянники“. Следствие выяснило, что мысль о побеге князя Семена зародилась со времени государевой болезни, что в 1553 году князь Семен вступи

в тайные сношения с бывшим тогда в Москве Литовским послом Станиславом Довойной и выдал ему некоторые правительственные секреты, что он затем послал в Литву своего холопа Бакшея, а за ними и собственного сына князя Никиту подготовить переезд в Литву для прочих участников „измены". Причину своего недовольства князь Семен объяснял тем, что Грозный „их всех не жалует, великих родов бесчестит, а приближает к себе молодых людей" (т.-е., незнатных); „да и тем нас истеснил (говорил он), что женился — у боярина у своего дочерь взял, понял робу свою: и нам как служити своей сестре?" Особенно страшной эта опасность „служить своей сестре" показалась князю Семену тогда, когда заболел государь и по его смерти могли всем завладеть Захарьины. Так в деле боярской измены 1554 года зазвучал тот же мотив, который звучал в тяжкие дни государевой болезни; но теперь в нем оказалась иная основа. Дед Грозного был женат на греческой царевне, его отец женился на княжне из „большого" высшего рода, а Грозный „понял робу свою" из простого не княжеского рода. В этом, оказывается, было унижение для „великих родов", которым приходилось служить „молодым людям" Захарьиным и „своей сестре". Очевидно, княжата считали брак Грозного неразумным, несоответствующими ни его, ни их достоинству, и возможность регентства над Дмитрием именно Захарьиных они учитывали, как особое унижение для всей своей среды.

Не легко было личное положение Грозного между враждующими кругами. Ранее того, как вражда вскрылась в откровенном столкновении 1553 года, Грозный мог ее не знать или сознательно не замечать. Сильвестр, Адашев и княжата были его правительством, а семья, Захарьины и ближние бояре, с ними согласные, были его интимным кругом, и между ними могли существовать приличные отношения. Теперь произошел разрыв, и за Сильвестром и княжатами стало имя князя Владимира. Прежнего доверия к „избранной раде" быть не могло, но могло быть перед нею чувство страха. Вспомним, что, по мнению Грозного, Сильвестр и Адашев „ни единыя власти не оставиша, идеже своя угодники не поставиша". Царю казалось, что весь аппарат власти был в руках у рады. Когда он и ближняя дума осудили князя Семена Ростовского в ссылку на Белоозеро, то, по словам Грозного, поп Сильвестр со своими советниками „того собаку почал в велицем бережении держати и помогати ему всеми благими, и не токмо ему, и всему его роду". Несмотря на расправу с этим „изменником", тогда „всем изменникам благо время улучися; нам же бо оттоле в большем утеснении пребывающим". Таким образом, справедливо, или нет, но вполне искренне Грозный считал себя в зависимости и в „утеснении" от тех, кому больше не верил. Этим и объясняется, почему он терпел около себя „раду" еще долго после душевного разрыва с нею в 1553 году. Он ее боялся;

на же продолжала выполнять свою правительствен-
ную работу по плану, который был создан в начале
ызванных ее влиянием общих преобразований. По-
идимому только к 1557 году Грозный более и
енее освободился от чувства зависимости в отно-
ении Сильвестра и его „другов и советников".
это приблизительно время заканчивается работа
ад внутренними преобразованиями (как будто-бы их
рограмма признается исчерпанной) и выступают на
ервый план вопросы внешней политики. Падение
азанского царства возбудило враждебную энергию
рымцев, и в 50-х годах XVI века Москве прихо-
илось с особым напряжением вести охрану своих
жных окраин. А кроме того на западных грани-
ах государства рождались осложнения со Швецией
главным образом, с Ливонией. В понимании об-
цего политического положения и в определении
чередных задач Московской политики царь круто
азошелся с „радою" и обернулся на запад в то
ремя, когда „рада" упорно оборачивала его на юг.
этого началась эмансипация Грозного.

V

ПОСЛЕДНИЙ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРОЗ НОГО. БАЛТИЙСКИЙ ВОПРОС И ОПРИЧНИН

1.

Для нас нет возможности пространно излагат все обстоятельства великой борьбы XVI века з торговые пути и берега Балтийского моря. В это борьбе Москва была лишь одною из многих участни Швеция, Дания, Польша и Литва, Ливония, Англия северная Германия—одинаково были втянуты борьбу, торговую и военную, и Москве невозможно было уклониться от участия в том, что происходи на ее западных границах, эксплоатировало ее угнетало. В зависимости от того, как слагались от ношения на Балтике, Московская торговля ил оживала, или замирала; гавани или открывались ил становились недоступными; сообщения с Западны странами или налаживались, или прерывались. К се редине XVI столетия западный Московский рубе стал особенно страдать от тех мероприятий, каки принимала Ливония из чувства страха перед росто Москвы. Она пыталась совсем разобщить Москв с Западом. Под влиянием внушений, шедших и Ревеля, и Ганзейские города, с Любеком во главе

стали держаться той же политики и действовать против Москвы. Обе силы, и Ганза, и Ливонский орден, желали пользоваться Московским рынком и извлекать из него необходимые им товары (воск, меха, лен, коноплю, кожи), а взамен давать ему возможно менее, и в особенности не давать оружия и других боевых припасов и не пропускать в Москву „цивилизаторов“ — военных людей, — врачей и техников. Известна история одного из широких предпринимателей того времени Ганса Шлитте. Он желал втянуть Москву в круг политических интересов средней Европы и снабдить ее людьми и средствами для участия в европейской антитурецкой лиге. Но власти Любека в 1548 году не пропустили в Москву ни Шлитте, ни навербованных им людей, ибо Ливония представила Ганзе свои доводы о крайней опасности всякого содействия Москве. Можно сказать, что, благодаря такой тенденции, Москва была поставлена в тяжелую зависимость от своего западного соседа. Она без его разрешения не могла ничего получить из Европы, не могла послать туда своих купцов, не могла пользоваться ближайшими к ней Балтийскими гаванями. Понятна поэтому та радость, с какою в Москве встретили английских купцов, появившихся в 1553 году в устьях Северной Двины; понятна та готовность, с какою Грозный оделил их торговыми привилегиями.

Но возможность использовать северный путь сношений с Европой не уничтожила желания поль-

зоваться и западными путями, более короткими и удобными, именно на Ригу и Ревель. Оба они были всецело в руках Ливонии. А Ливония в данную минуту являла зрелище внутреннего разложения, и Москве, хорошо знакомой с состоянием соседки, представлялся большой соблазн воспользоваться минутой и выйти к морю. Всем было ясно положение Ливонского ордена. В этой стране господствовала анархия, и вся жизнь Ливонии шла на антагонизмах. В основе их лежала вражда национальная — коренного литовского и финского населения к завоевателям немцам. К ней присоединялась вражда социальная — крестьян к феодалам и горожан к тем и другим. Не было в стране и политической солидарности. Магистр Ливонского ордена всегда враждовал с другими церковными властями, в особенности с Рижским архиепископом; а города, рано достигшие свободы и самостоятельности, тянулись к Ганзе и при случае захватывали в свои руки руководство политическими отношениями. Городская аристократия не желала повиноваться ни ордену, ни архиепископу. Наконец, проникшая в Ливонию реформация создала в ней и религиозный антагонизм. Она лишила орден внутреннего единства и во все классовые организации внесла рознь и расшатанность. Для Ливонии это было последним ударом, за которым должно было последовать распадение.

В Москве вряд-ли представляли себе во всей совокупности содержание „Балтийского вопроса“ и

всю сложность отношений между прибалтийскими государствами. Но там, конечно, хорошо понимали свои ближайшие интересы и ближайшую политическую обстановку. Кризис Ливонии, ее внутренняя шаткость и военная слабость не были секретом для московских дипломатов. Ими была учтена возможность и своевременность вмешательства в Ливонские дела с целью приобретения тех гаваней, которые были нужны для русской торговли и ею до сих пор командовали. Нарва, за нею Ревель, за ними, в случае удачи, Гапсаль и даже Рига — вот предмет Московских вожделений. Но в Москве понимали также всю сложность собственного политического положения. Блестящий успех Москвы на востоке и, с покорением татарских ханств, выход ее на Каспий, к восточным рынкам, взбудоражили мусульманский мир, подняли Крым, смутили Турцию. Москва могла ждать нападений с юга и юго-востока. Эта опасность представлялась особенно страшною для тех осторожных людей, которые знали силу турок и страх, внушаемый ими средней Европе. Москва в то же время не могла добиться мира с Литвою и должна была довольствоваться кратковременными перемириями с нею то на два, то на шесть лет. Пограничные отношения со шведами были так запутаны, что в 1555 году привели к войне, шедшей вяло и законченной в 1557 году удачным для Москвы миром на 40 лет. (Для Москвы эта война послужила повидимому доказательством слабости Швеции).

Московские умы, занимавшиеся вопросами внешней политики, должны были в то время держаться двоякой „ориентации“. Для одних главною задачею момента было укрепление за Москвою сделанных ею завоеваний и оборона, по возможности активная, южных границ. Для других очередным делом представлялось приобретение торговых путей на западе и выход на Балтийское море. Первые считали главным врагом Москвы крымцев, а за ними Турецкого султана. Вторые считали своевременным удар на Ливонию, которой не могли в данную минуту помочь ни Швеция, ни Литва, только что связавшие себя мирными трактатами с Москвой. Первых следует считать более осторожными политиками, чем вторых; вторые же, без сомнения, были более чуткими и смелыми людьми. К первым, принадлежали Сильвестр и его друзья — „рада“; на сторону вторых стал сам Грозный. Если бы сторона Сильвестра была последовательна, она ограничилась бы теми мерами против крымцев, которые внушались реальною обстановкою тех лет. Надо было держать наготове оборонительные войска на границах, посылать в „дикое поле“ разведчиков и при случае самим делать поиски против татар, чтобы внушить им некоторый страх. После падения Казани и Астрахани крымцы могли ждать от Москвы удара и на них самих. Вероятно, под влиянием „рады“, такого рода меры и принимались; но их неожиданно большой успех вскружил наиболее впечатлительные головы

и внушил „раде“ мечту о немедленном завоевании Крыма. Мудрая осторожность была забыта, и осмотрительную деловую программу заменили воздушные замки. Дело в том, что предпринимаемые против Крыма в 1555—1560 гг. наступательные действия, благодаря счастливой случайности, из коротких набегов и разведок переходили во внушительные демонстрации. Таковы были набеги И. В. Шереметева, Д. Ржевского, князя Дм. Вишневецкого и других. Ржевский в 1556 году добрался до берегов Черного моря (у Очакова) и поднял на себя „весь Крым“. В тех же местах годом позже действовал Вишневецкий, пытавшийся устроить себе постоянную базу на о. Хортице на Днепре (где потом стала знаменитая „Сечь“). На Азовском море в то же время громил татарские улусы казачий атаман Мишка Черкашенин. Видя особый успех всех этих и подобных предприятий и учитывая засуху и эпидемии, истощавшие в те годы ногайские улусы, избранная рада поддалась соблазну и стала подбивать Грозного, „да подвигнется сам с своею главою с великими войски на Перекопского (хана), времени на то зовущу“. Повидимому такие увещания бывали не раз, а много раз. Курбский говорит о себе и своих единомышленниках: „мы же паки о сем и паки ко царю стужали и советовали: или бы сам потщился итти, или бы войско великое послал в то время на орду“. Но царь, к великому огорчению рады, не послушал ее, а устремил свое внимание на запад. Трудно те-

перь решать, на что в ту минуту более „звало время“ — на Ливонию или Крым. Но ясно, что поход „с великими войсками“ в Крым представлял величайшие трудности, а Ливония была под рукою и явно слаба. Наступать через „дикое поле“ на Перекоп тогда надобно было с Тульских позиций, так как южнее Тулы уже „поле бе“, то-есть начинались необитаемые пространства нынешней черноземной полосы, и в них не было еще таких опорных пунктов, какими в свое время против Казани стали Васильсурск и Свияжск. Активная оборона южной окраины и ее постепенное заселение были делом исполнимым и целесообразным, и поскольку это дело занимало „раду“ Сильвестра, постольку рада была права. Но фантастический проект перебросить через дикое поле всю громаду московских полевых войск на Черноморское побережье был, вне всякого сомнения, неисполним. Он являлся вопиющим нарушением осторожной последовательности действий. Только через двадцать лет после этого проекта, Москва достигла заметных результатов в деле заселения и укрепления „дикого поля“ и перенесла границы государственной оседлости с Тульских мест приблизительно на р. Быструю Сосну. В начале XVII века с Быстрой Сосны, от Ельца и Ливен, первый самозванец предполагал начать свой поход против татар и турок. Но и этот поход был, конечно, политическою мечтою авантюриста, а не зрелым планом государственного дельца. В исходе XVII века с еще более южной

базы пробовал аттаковать Крым князь В. В. Голицын, но, как известно, безо всякой удачи. Позднейшие и более удачные походы в Черноморье Петра Великого и Миниха столь же наглядно, как и походы Голицына, показали громадные трудности дела и послужили тяжким, но полезным уроком для последующих операций.

Отказываясь „подвигнуться" против Крыма сам „с великим войском", Грозный был несомненно прав. Хотя Курбский обругал его советников, отвратившких будто бы царя от Крымской войны, „ласкателями" и „товарищами трапез и кубков", однако эти ласкатели — если вина на них — были на этот раз разумнее „мужей храбрых и мужественных", толкавших Грозного на рискованное, даже безнадежное дело. „Время звало" Москву на запад, к морским берегам, и Грозный не упустил момента предъявить свои притязания на часть Ливонского наследства, имевшего стать выморочным. Не сам, конечно, Грозный поставил пред московским правительством Ливонский вопрос. Этот вопрос получил важность очередного в системе политических отношений Москвы силою вещей, всем ходом сношений с Ливонией. С 1554 года в этих сношениях наступил кризис: Москва потребовала, чтобы Ливония стала к ней в даннические отношения. Сама по себе дань не имела большого значения, и требование дани не опиралось на бесспорное юридическое основание. Все понимали, что московское притязание есть только

предлог и символ. Ссылаясь на то, что платеж дани был условлен еще договором 1503 года, Москва видела в этом давний знак политической зависимости от нее если не всей Ливонской федерации, то Дерптского округа, и обязывала Ливонию не вступать в дружественные отношения с Польшею и другими странами. Согласие платить дань, значило бы признание Ливонией своей зависимости от царя; неуплата же дани давала повод к Московскому вмешательству в ливонское дело. Около трех лет шли бесплодные попытки ливонцев уклониться от дани; Ливония пережила в эти годы острое междоусобие и несчастную войну с Польшей. В отчаянии она заключила с польским королем Сигизмундом-Августом союз против Москвы (в сентябре 1557 года); а в исходе этого года русская рать стояла уже на границах Ливонии. В январе 1558 года она вошла в Ливонию, а польский король никакой помощи ливонцам не присылал.

Так началась знаменитая Ливонская война Грозного. Удар врагу был нанесен своевременно — тотчас после того, как Ливония ушла под протекторат другого государства, и ранее, чем могла поспеть оттуда к ливонцам помощь. В Москве не было заметно и тени недовольства начатой войной; даже участник „избранной рады“ Курбский с воодушевлением повествует о Ливонском походе и о своем в нем участии. И только Грозный ядовито рассказывает о несочувствии Сильвестра и Адашева этой

„Германской“ войне. „И от того времени (говорит он о начале войны) от попа Сильвестра и от Алексея и от вас — какова отягчения словесная пострадах!... еже какова скорбная ни сотворится нам, то вся сия Герман ради случися!“ Но вряд ли можно думать, что в „попе“ и в „Алексее“ говорила политическая прозорливость, а не простая досада на непослушного им царя. Никто в Москве не мог тогда представить себе, до какой степени осложнится дело с Ливонией; никто не ждал, что против Москвы станут все претенденты на Ливонское наследство — и Швеция, и Дания, и Речь Посполитая, а за ними император и вся вообще Германия. Москва радовалась скорой и легкой победе, не предвидя, что она поведет к тяжким военным испытаниям и к роковому внутреннему расстройству.

2.

В самых общих чертах ход Ливонской войны был таков. В начале 1558 года московские войска опустошили Ливонию почти до Ревеля и Риги. Весною они взяли Нарву и несколько других ливонских крепостей. В июле после недолгой осады сдался Дерпт (Юрьев). Ливонцы сопротивлялись слабо, искали мира у царя в Москве, просили помощи на западе. При этом сказался уже внутренний распад Ливонии. Даже в минуты смертельной опасности

страна не могла достичь единения: Эстляндия и о. Эзель обратились за покровительством и помощью к Дании, Рижский архиепископ — к Польше, магистр ордена — к Швеции. Этим подготовлялось общее вмешательство в деле Ливонии и ее раздел. В 1559 году натиск русских повторился; опять московские отряды появились под Ригою и проникли даже в Курляндию. Весною приехало в Москву Датское посольство по Ливонскому делу и исхлопотало у Грозного для Ливонии перемирие на полгода („от мая до ноября"). Датчане заявляли, что Ревель учинился „послушен" их королю, и потому просили царя не трогать Ревельских мест. Давая перемирие „для кроткого предстояния" датского короля, Грозный однако отвел его притязание на Ревель, заявив решительно, что будет держать Ревель „в своем имени". В Москве ждали, что во время перемирия магистр Ливонии явится в Москву лично, или пришлет „своих лучших людей" для того, чтобы „за свои вины добити челом" и получить мир, „как их государь пожалует". Но магистр не приехал, а ливонцы воспользовались перемирием для того, чтобы найти покровителей и союзников против Москвы. Они искали их на имперском сейме в Германии, в Швеции, Дании, Польше, — словом, там же, где и год тому назад, — и Ливония в этих поисках окончательно распалась. В течение 1559—1561 гг. оформилось это распадение тем, что Эстляндия вошла в подданство Швеции, о. Эзель стал под покрови-

тельство Дании, магистр отдал Лифляндию польскому королю, с сохранением над нею номинальной верховной власти императора и, наконец, сам магистр обратился в герцога Курляндского с явным подчинением тому же королю и императору.

Секуляризацией Курляндии закончился процесс уничтожения средневековой Ливонской федерации, и Грозному пришлось теперь считаться с ее наследниками. Значительною долею выморочного наследства он фактически владел, но юридически за ним, кроме Дании, никто ничего не хотел признавать. Все, что московские войска захватили, как до перемирия 1559 года, так и после в кампаниях 1560—1561 гг. (Мариенбург, Феллин) Москве предлагалось передать более законным владельцам. Однако, такого рода требования предъявлялись Грозному не круто и не прямо, так как за Ливонские земли схватились сразу все претенденты и все сразу же перессорились независимо от Москвы. Дании предстояла немедленная борьба со Швецией за Эстляндию, и обе эти державы не могли одновременно считаться еще и с Москвою. Поэтому Дания предложила Грозному полюбовный раздел в пределах Ливонии, и Грозный пошел на эту сделку в такой форме, что датские послы били ему челом от его приятеля Фредерика, короля датского и норвежского, о том, чтобы ему, Ивану, отписать к Датскому королевству его долю „в моей великого государя Ивана, божией милостию царя всея Русии, в отчине, в Ливонской

земле“; и царь датского короля „для его челобитья и прошения“ пожаловал, его долю ему отписал. Это было в 1562 году, а восемь лет спустя между Данией и Грозным состоялось новое соглашение, по которому обе стороны, признавая верховные права на Ливонию за Грозным, передавали эту страну целиком, с городами, „которые ныне за Литовским и за Свейским“ (государями) — в обладание датскому „королевичу“, герцогу Магнусу. Грозный „учинял его на своей отчине, на Лифляндской земле королем“ и писал: „и коруну ему дадим от своей руки царского величества и быти ему нам подданным голдовником“ [1]). Такого рода компромиссами устранялась опасность войны за спорные города и земли между Москвою и Данией, но не достигалось внутреннее согласие. Обе стороны вели свою особую политику и не столкнулись в конце-концов лишь потому, что военное счастье отвернулось от них и перешло на сторону их врагов — Швеции и Речи Посполитой. Равным образом Швеция не сразу вступила в открытую борьбу с Москвою. Она находилась накануне своей „семилетней“ (1563 — 1570) войны с Данией, предметом которой между прочим было и обладание Эстляндией. Поэтому шведам нельзя было дробить сил, и, занимая своими войсками поддавшийся им Ревель, они в то же время

---

[1]) Голдовник, — вероятно, с польского — значит: данник, вассал.

вели мирные, хотя и не особенно благожелательные переговоры с Москвою. В 1561 году между Москвою и Швецией был даже подтвержден мирный договор прежних лет по случаю вступления на престол нового шведского короля Эриха XIV „по тому ж, как преже сего с отцом его было перемирье“. За то король польский Сигизмунд-Август немедля после того, как заключил договор о протекторате с властями Ливонии (1559 г.), предъявил Грозному требования о прекращении войны в Ливонии (в январе и августе 1560 г.), поставив сроком для этого прекращения 1 апреля 1561 года. В то же время королевские отряды появились на театре войны, и литовский гетман Ходкевич понес первое поражение от Курбского. Так для Москвы война Ливонская перешла в войну с королем или „с литвою“.

Грозный бодро встретил это тяжелое политическое осложнение. Он не оставил Ливонии и в то же время перенес войну в пределы Литовского великого княжества. В начале 1563 года ему удалось нанести врагу чувствительный удар. Большое московское войско осадило и взяло Полоцк, а передовые его отряды явились пред Вильной. Падение Полоцка произвело огромное впечатление в Речи Посполитой: несмотря на большую победу, одержанную гетманом Н. Радзивилом над московской ратью в 1564 году, Литва хотела мира. Она шла даже на то, чтобы добыть длительное перемирие ценою уступки Москве занятых ею частей Литовской тер-

ритории. Возможность приобрести таким образом Полоцк соблазняла Грозного. Но сам он не решил дела, а созвал (28 июня — 2 июля 1566 года) земский собор — представительное собрание высшего духовенства, боярства, служилых людей, „гостей и купцов и всех торговых людей" (т.-е., представителей торгово-промышленного класса). Собор отклонил перемирие на предположенных условиях и высказался за продолжение войны в надежде на дальнейшие воинские успехи. Война и продолжалась, но вяло; военные действия шли с переменным счастьем и чередовались с попытками мирных переговоров. В 1570 году было, наконец, заключено перемирие на основании uti possidetis (кто чем владел в данное время); срок перемирия был условлен трехлетний.

Однако война с Речью Посполитою возобновилась не через три года, а только через семь лет — в 1577 году. Промежуток времени с 1570 до 1577 года был полон очень важными для Москвы и для самого Грозного событиями. Во-первых, встала серьезная опасность со стороны Турции и Крыма; во-вторых, произошел разрыв со Швецией, и в-третьих, возник было вопрос об унии Москвы с Литвой (и даже Польшей) путем избрания Грозного на литовский и польский престол по смерти короля Сигизмунда-Августа, но разрешился полной неудачей московской кандидатуры. Сложность политических событий в эти годы была чрезвычайной, и увеличивалась она еще тем тяжелым внутренним процессом, который

обнаружился внутри Московского государства и расшатывал его внешнюю мощь.

Турки и татары начали действовать против Москвы еще в 1569 году. Весною этого года султан Селим послал на Астрахань значительные силы турецкие, ногайские и крымские. Они должны были из Азова Доном дойти до „переволоки“ на Волгу и Волгою спуститься к Астрахани. Условия климата и местности не позволили исполнить этот план. До низовий Волги добрался только авангард и тот быстро отступил назад из боязни зимовки в степи в виду русских сил. Зато в 1571 году крымскому хану удался набег на Москву. Грозный стерег свою южную границу все лето 1570 года и не дождался хана; а год спустя хану московские изменники указали такой обходный путь, который позволил ему беспрепятственно дойти до самой Москвы и сжечь ее. Уцелел один Кремль; все прочие части города погибли в огне. Сгорело много народу; истреблены пожаром товары и пожитки. Бедствие приняло огромные размеры. Сам Грозный спасся бегством от татарского набега в Ростов и не присутствовал при попытках бояр отбить врага от Москвы. На следующий 1572 год крымцы хотели повторить нападение на Москву, но были вблизи от Москвы разбиты князем М. И. Воротынским и обращены в бегство. Этим пока и была исчерпана их энергия.

В те же годы совершилось признание герцога Магнуса „королем“ Ливонским и произошел разрыв

Грозного со Швецией. Поддержанный Москвою Магнус начал осаду Ревеля, а московское правительство стало в явно враждебные отношения к шведам в расчете на успех своего „голдовника". Когда же Магнус отступил от Ревеля ни с чем, Грозный сам начал поход в Эстляндию (1572 — 1573). Русские взяли несколько укрепленных замков, но в общем не имели большого успеха. Дело тянулось вяло целые годы, и шведы были не прочь от мира: „а мы не можем себе разумети", писал шведский король Иоанн Грозному: „за что вы с нами воюетеся". Если дело идет только о Ревеле, то шведы готовы предоставить его императору, как верховному государю, „и вы тогда у цесаря о Колывани (т.-е., Ревеле) промышляйте". Но Грозный хотел промышлять не только о Ревеле. В 1575 году он захватил Пернов и Гапсаль, имея в виду всю Эстляндию, а позднее, в 1577 году, думал уже и о Лифляндии, где впервые его войска столкнулись с войсками короля Стефана Батория, поддержавшими шведов. Этим начался последний период ливонской войны, приведший Грозного к полному поражению.

Во время перемирия Москвы с Речью Посполитой, заключенного в 1570 году, умер последний Ягеллон король Сигизмунд-Август (в июле 1572), и Речь Посполитая обратилась в избирательную монархию. В числе кандидатов на ее престол оказался и Грозный, за которого высказывались литовские паны и часть польской шляхты. Однако же канди-

датура Грозного скоро пала оттого, что царь ставил условия, очень удобные для него, но неприемлемые для поляков, в особенности же для католиков. Это объяснялось тем, что Грозный вряд ли серьезно думал стать избранным и ограниченным монархом в иноверной стране. Как известно, на элекционном поле под Варшавой в 1573 году уже не произносилось имени царя московского, а избран был Генрих Валуа принц Анжуйский. Когда же он, после краткого визита в Польшу, бежал из нее на родину и началось снова бескоролевье, кандидатура Грозного не получила большей силы. Королем был избран Трансильванский (Седмиградский) владетельный князь Стефан Баторий. Венгерец родом, питомец Падуанского университета, побывавший и в Германии, Баторий совмещал природный ум и талантливость с большим образованием и широким житейским опытом. Эти качества помогли ему приобрести авторитет в Речи Посполитой и дали возможность сосредоточить в своем распоряжении достаточные силы и средства для борьбы с Москвою. Весною 1576 года стал он королем и первое время всецело занялся укреплением своего положения внутри государства, но затем с необычной энергией устремился на борьбу с Грозным. В 1577 году его войска действуют в Лифляндии; 1578-й год проходит в подготовке большого похода и в переговорах с Москвою о перемирии. Москва была согласна на трехлетнее перемирие, но Баторий уже приготовился к войне и не пожелал

воспользоваться согласием Москвы. В 1579 году летом, когда Грозный с большим войском приступил к действиям против шведов, Баторий нападает на Полоцк и берет его. В 1580 году он направляется на Великие Луки и берет этот важный в стратегическом отношении город. Обладание Полоцком и В. Луками ставит Батория на путях между Москвой и Лифляндией „в предсердии Московского государства", откуда открыт выход на Волжские верховья и в Московский центр. Однако, король не стремится к Москве: следующий удар он в 1581 году, летом, направляет на Псков, предварительно взяв по дороге г. Остров. Но здесь и кончаются успехи Батория. Он вернул себе Литовскую территорию, бывшую в обладании Грозного; он отрезал Грозного от Лифляндии и подчинил ее Польше. Он, словом, лишил Москву всех плодов ее побед; но на Московской земле ему было мало удачи. Псков отразил все приступы Батория, и король подо Псковом вынужден был остаться на зиму. Это склонило Батория на переговоры о мире. И Грозный желал мира „по конечной неволе, смотря по нынешнему времени, что Литовский король со многими землями и Шведский король стоят заодно". В Москве поняли, что дело проиграно, потому что оба врага перешли в наступление (шведы в эти годы взяли Гапсаль, Нарву и весь берег моря до р. Невы и г. Корелы); внутренние же силы для борьбы Москва быстро теряла.

Переговоры о мире с Баторием начались в конце 1581 года на Запольском яму (близь г. Порхова) и привели к десятилетнему перемирию, заключенному на условии передачи Баторию всей Лифляндии и всех городов, завоеванных Москвой у Литвы. Посредником при заключении мирного договора был папский „посланник“, „римской веры поп“, иезуит Антоний Поссевин, имя которого помянуто было даже в подлинных мирных грамотах, как имя оффициального представителя папы. Немногим позднее, в июле 1582 г., Баторию удалось вынудить у побежденной Москвы обязательство не посылать войск в Эстляндию и „не добывать“ тех городов, московских и ливонских, которые были захвачены шведами, во все перемирные десять лет. Это означало фактическое прекращение войны со шведами, иначе — капитуляцию; она и была оформлена договором со шведами в августе 1583 года (на р. Плюсе). Этот договор установил перемирие на три года на основании uti possidetis.

3.

Итак из долгой борьбы за Балтийский берег Москва вышла побежденною и ослабленною. В нашем изложении хода военных действий не раз упоминалось о том, что боевые неудачи Грозного сопрягались с тяжелым внутренним процессом Московской жизни, который подтачивал — и притом очень

быстро — экономические силы и боеспособность страны. В конце правления Грозного Московское государство было уже не таково, как в начале ливонской войны. Первые походы Грозного на Ливонию, поход его на Полоцк — поражали современников количеством ратных сил. Идя к Полоцку, московские войска „позатерлися“ по дорогам от своего многолюдства, и царю потребовались особые усилия для того, чтобы восстановить походный порядок в воинских массах. Когда же Баторий наносил свои удары Полоцку, Великим Лукам, Озерищу, Пскову, — у Грозного не было, чем выручить крепости и что вывести в поле против вражеской рати. По выражению Курбского, Грозный со всем своим воинством забился за леса „яко един хороняка и бегун“, трепетал и убегал, хотя никто за ним не гнался. Действительно, против Батория Москва не высылала полевых армий, а встречала его одними гарнизонами, сам же Грозный лишь издали с своим „двором“ наблюдал за действиями врага. В последние годы войны были заметны признаки явного истощения средств для борьбы. Уже в начале 1580 года Грозный прибегает к исключительным мерам в отношении вотчинных прав и льгот духовенства и ограничивает их, потому что от роста церковного землевладения „воинскому чину оскудение приходит велие“. Ниже увидим и другие признаки экономического кризиса, постигшего Московское государство. В сущности Баторий бил уже лежачего врага, не

им повергнутого, но до борьбы с ним утратившего свои силы.

Внутреннее расстройство Московской жизни, кроме случайных физических бедствий того времени, имело двоякие причины. Одни заключались в так называемой опричнине Грозного и ее следствиях, другие — в том стихийном явлении, что трудовая масса московского населения пришла в движение и, покидая старую оседлость, стала рассеиваться по направлению от центра к окраинам государства. Обе категории причин были во взаимной связи, действовали одновременно и в короткое время привели Московское государство ко внутренней катастрофе.

К изложению этого сложного процесса мы теперь и обратимся.

Смысл опричнины совершенно разъяснен научными исследованиями последних десятилетий. Современники Грозного ее не понимали, потому что правительство не давало народу объяснений по поводу тех мер, какие принимало; самые же меры представлялись очень странными. Смиренный дьяк Иван Тимофеев, „книгочтец и летописных книг писец", представляет в своем „временнике" дело так, что царь „возненавидел грады земли своея" и во гневе разделил их и „яко двоеверны сотворил". Другой современник выразился крепче, сказав, что, по разделении государства, царь одну его часть взял себе, другую дал великому князю Симеону Бекбулатовичу и заповедал своей части „оную часть

людей насиловати и смерти предавати“. Итак видно было только разделение государства и насилие над одною частью его, „земщиною“, другой его части — „опричнины“. Зачем это делалось, не понимали и думали, что царь просто „играл божиими людьми“. Действительно было странно делать над своими мирными подданными то, что сделал Грозный. Недовольный окружавшею его знатью, он применил к ней ту меру, какую Москва применяла к своим врагам, именно — „вывод“. И отец и дед Грозного, следуя старому обычаю, при покорении Новгорода, Пскова, Рязани, Вятки и иных мест выводили оттуда опасные для Москвы руководящие слои населения во внутренние Московские области, а в завоеванный край посылали поселенцев из коренных московских мест. Это был испытанный прием ассимиляции, которым московский государственный организм усваивал себе чуждые общественные элементы. В особенности крут и ясен был этот прием в Великом Новгороде и на Вятке; при самом Иване Грозном в несколько лет Казань была превращена в русский город, из которого татары все были выведены в „татарскую слободу“. Лишаемый местной руководящей среды, завоеванный край немедля получал такую же среду из Москвы и начинал вместе с нею тяготеть к общему центру Москве. То, что так хорошо удавалось с врагом внешним, Грозный задумал испытать с врагом внутренним, т.-е. с теми людьми, которые ему представлялись враждебными

и опасными. Он решил вывести с удельных наследственных земель их владельцев княжат и поселить их в отдаленных от прежней оседлости местах, там где не было удельных воспоминаний и удобных для оппозиции условий; на место же выселенной знати он сажал служебную мелкоту, детей боярских, на мелкопоместных участках, образованных на пространстве старых больших вотчин. Исполнение этого плана Грозный обставил такими подробностями, которые возбуждали недоумение современников, ибо не вытекали из сути дела. Он начал с того, что в декабре 1564 года безвестно покинул Москву и только в январе 1565 года дал о себе весть из Александровской слободы. Он грозил оставить совсем свое царство из-за боярской измены и остался во власти, по усердному молению москвичей, только под условием, что ему не будут перечить на изменников „опала своя класти, а иных казнити, и животы их и статки (имущество) имати, а учинити ему на своем государстве себе опричнину: двор ему себе и на весь свой обиход учинити особной“. Таким образом борьба с „изменою“ была целью; опричнина же являлась средством. Новый „особный двор“ Грозного состоял из бояр и детей боярских — новой „тысячи голов“, которую отобрали также, как в 1550 году отобрали тысячу лучших дворян для службы в столице. Первой тысяче дали тогда подмосковные поместья; второй — Грозный дает поместья в уездах тех городов, „которые городы

поимал в опричнину“; это и были опричники, предназначенные сменить опальных княжат на их удельных землях. Для содержания нового двора царь с самого начала отобрал некоторое число дворцовых сел и волостей, приписал к новому двору некоторые улицы и слободы в самой Москве, взял „в опричнину“ более десятка городов с их уездами и перевел из государственных касс в свое ведение доходы с волостей и городов, выбрав для того крупные и доходные торговые центры. Первоначальное ведомство нового „особного двора“, образованное в 1565 году, непрерывно росло до самого конца царствования Грозного. Царь последовательно включал в опричнину, одну за другой, внутренние области государства, производил в них пересмотр землевладения и учет землевладельцев, удалял на окраины или по-просту истреблял людей, ему неугодных, и взамен их поселял людей надежных. Изгнанию подвергались не только знатные потомки удельных князей, но и простые служилые люди и вся вообще дворня и служня, окружавшая подозрительных для Грозного господ. Эта операция пересмотра и вывода землевладельцев получила характер массовой мобилизации служилого землевладения с явною тенденцией к тому, чтобы заменить крупное вотчинное (наследственное) землевладение мелким поместным (условным) землепользованием. С развитием дела опричнина получила огромные размеры. Она охватила добрую половину государства, все его цен-

тральные и северные области, и оставила в старом порядке управления, „в земском“, только окраинные уезды. В „опричнинской“ половине государства было свое правительство, своя администрация, своя казна, — словом, весь правительственный механизм, работавший параллельно и равноправно с органами „земского“ управления. Государство действительно оказалось поделенным на две части, и в 1575 году Грозный как бы оформил это разделение: он сделал „великим князем всея Русии“ крещеного татарского „царя“ (т.-е. хана) Симеона Бекбулатовича и подчинил ему „земское“ или „земщину“, а сам стал звать себя „князем московским“ и просил у „великого князя“ разрешения „людишек перебрать, бояр и дворян и детей боярских и дворовых людишек“. На это время, — правда, короткое (1575 — 1576) — царский титул как будто исчез совсем, и опричнина именовалась „двором“ московского князя, а „земское“ стало „великим княжением всея Русии“.

Прямой смысл того, что делал Грозный, ясен; но совершенно не ясно, что́ подвигнуло его на это дело учреждения „особого двора“, пересмотра земель, изгнания знати и, наконец, тех зверских казней, которыми сопровождалась деятельность опричнины. Мы видели, что в детстве Грозного при московском дворе не было борьбы боярских партий, не существовало оппозиционной среды бояр или княжат. Вражда нескольких княжеских семей, омрачившая детство Грозного, была простым хроническим не-

согласием членов регентства, которому Василий III вверил опеку над малолетним Иваном. Маленький великий князь не видел вокруг себя политической борьбы и не знал никакой сословной или кружковой оппозиции. Никакая среда не стремилась воспользоваться слабостью верховной власти и захватить в свои руки правление государством или получить влияние на дела. Из своего детства Грозный никак не мог вынести сознания того, что его самодержавие в опасности. Такое сознание могло родиться у него только во время его близости с Сильвестром и радою. Мы видели, что состав рады, как надо предполагать, был княжеский, тенденция повидимому тоже княжеская. Сила влияния „попа" и его „собацкого собрания" в первые годы их действия была очень велика. Советники подавляли личную волю Ивана и властно руководили им, увлекая его за собою идеей общего блага, стремлением к народной пользе и государственному благоустройству. Грозный послушно шел за своими руководителями, пока верил в них самих, как верил в их идеалы. Когда же, в дни своей тяжелой болезни он неожиданно увидел их против себя и против царицыной родни, он перестал им доверять и уразумел, что они преследуют свои цели, ведут свою политику, не ценят его лично и не любят его семьи. Из любимых и верных слуг они для него превратились в своекорыстных и неискренних соправителей, лукаво отнявших у него полноту его власти и разделивших с ним его державный авторитет. Так

как весь механизм управления был в их руках (для царя, по его словам, „вся не по своей воли бяху, но по их хотению“), то Грозный их боялся, как боялся и любезного им князя Владимира Андреевича. Ему казалось, что отняв на деле „от прародителей данную ему власть“, они могут попытаться отнять ее и формально, воцарив Владимира вместо него, Ивана. Впервые и очень остро Грозный почувствовал около себя опасность оппозиции и, разумеется, понял, что это оппозиция классовая, княжеская, руководимая политическими воспоминаниями и инстинктами княжат, „восхотевших своим изменным обычаем“ стать удельными „владыками“ рядом с московским государем.

Именно в этой обстановке надлежит искать происхождения опричнины. Не отваживаясь сразу разогнать раду, царь терпел ее около себя, но внутренне отдалился от нее; и члены рады понимали, что прежние отношения порвались. Наиболее чуткие тотчас же пожелали уйти в Литву от создавшейся обстановки царского недоверия и вражды с царицыной родней. Так поступили Ростовские князья и, конечно, только углубили этим происшедший разрыв. В общем, однако, дело тянулось до начала Ливонской войны, когда, наконец, царь показал явно свою независимость от рады. В первые же годы войны и, быть может, под влиянием достигнутых успехов, Грозный окончательно освободил себя от общения с „попом“ и А. Адашевым. Оба они были

удалены из Москвы — первый в монастырь, а второй на театр войны. Попытки друзей заступиться за них и возвратить их были отклонены и раздражили Грозного. Последовали опалы на заступников, не остановившие однако новых попыток вернуть прежних любимцев. В воспоминаниях Грозного дело имело такой вид, что он, освободившись от Сильвестра и Адашева, думал сначала легко покончить с радою; но приятели удаленных упорно держались за свои позиции, мечтали о возвращении ко власти и вообще обнаружили „разум непреклонен" к тому, чтобы на царя „лютейшее составити умышление". Тогда Грозный вышел из душевного равновесия. Дело осложнилось тем, что в это время скончалась (7 августа 1560 г.) жена Грозного царица Анастасия, долго болевшая (с ноября 1559 г.). Царь связал ее кончину с тою „ненавистью зельною", какую, по его мнению, питали к царице Сильвестр и Адашев, и поставил свою горестную утрату как-бы в вину всей раде. Разрыв с радою получил характер острого и бурного столкновения. Первые попытки вернуть опальных Грозный отвел сравнительно милостиво: „исперва убо казнию конечною ни единому коснухомся", писал он. А дальше „повинные по своей вине таков (какова вина) суд прияли", то-есть, последовали казни; именно, были без суда казнены родственники А. Адашева (сам же он умер в Дерпте в начале 1561 года). Первые казни открыли собою новый период в развитии московских осложнений. Повидимому они вы-

поместной службы, и помещение целой тысячи служилых людей на поместьях под Москвою, общее описание служилых и тяглых земель в целях лучшего учета служеб и платежей — все это вело к усилению государственных тягот населения и могло побуждать к выселению на новые, более льготные места. А таковы были именно места в завоеванном Поволжьи. Богатая почва, обилие воды и леса, непочатый простор для селитьбы, пахоты и промысла манили туда поселенцев. Правительство, нуждаясь в гарнизонах для новых им основанных городов, само звало на Низ „верховых сходцев“ с Оки и верхней Волги. Оно раздавало там земли служилым людям и духовенству для усиления русской стихии в крае, и землевладельцы вели за собою на новые хозяйства рабочую силу из старого Великорусского центра. Кроме того стала досту́пна дорога с Оки и Волги мимо Нижнего Новгорода через черемисские и вотяцкие места на Вятку и далее к Уралу, давно известному в Великоруси своими богатствами. Народная масса поэтому двинулась на восток и северо-восток, отчасти поощряемая самим правительством в ее движении. Но не одно Поволжье сманивало народ из коренных московских областей. Манило к себе и то „дикое поле“, которое лежало на юг от Рязанских, Тульских и Калужских мест и пока не было никем заселено. Им пользовались татарские и русские бродяги, находившие там убежище от преследования врагов или закона и искавшие добычи

от охоты или грабежа русских и татарских пограничных поселений. К середине XVI века на диком поле одолели русские люди. Под именем „казаков“ они бродили без помехи от татар по всему пространству до Северного Донца и Нижнего Дона и на берегах „польских“ рек ставили свои охотничьи „станы“ и „юрты“, в которых промышляли рыболовством и охотой. Но не этот промысел был в „поле“ наилучшим. Привлекательнее было военное дело. Можно было, сойдясь в боевой отряд, „станицу“, и выбрав „атамана“, идти на юг в Черноморье добывать „зипунов“ в татарских и турецких поселениях. Можно было на полевых дорогах, „шляхах“, из Московского государства на юг грабить русских и иноземных купцов, даже царских и ханских послов. Наконец, можно было по царскому призыву наниматься на государеву службу и входить особыми отрядами в Московскую рать. Вот на это „дикое поле“ и потянулся народ из терроризованного Грозным государства тогда, когда от опричнины и тягот Ливонской войны на Руси стало жить не в-мочь. Повидимому это выселение из государства на дикое поле первоначально не беспокоило правительства; по крайней мере современники думали, что Грозный даже поощрял выход на юг с тою целью, чтобы „наполнить границы своей земли воинственным чином и им укрепить украинные города против супостатов“. Один из писателей того времени сказал даже так, что если „гад кто злодействующий осу-

жден будет к смерти и аще убежит в те грады польские и северские", то там будет избавлен от „смерти своея". Но с течением времени плоды такого попустительства стали беспокоить московскую власть. Она поняла, что отвлечение людей из центра в Поволжье и на „поле" роковым образом отозвалось на положении самого центра.

К семидесятым годам XVI века положение там в хозяйственном отношении стало явно критическим. Убыль населения создала в центре хозяйственную пустоту вследствие недостатка рабочих рук. Писцовые книги того времени отмечали очень много „пустошей, что были деревни"; вотчин пустых и поросших лесом; сел, брошенных населением, с церквами „без пенья"; пашен, оставленных „за пустом" без обработки. Местами была жива еще память об ушедших хозяевах, и пустоши еще хранили на себе их имена, а местами и хозяева уже забыты и „имян их сыскати некем". Там, где возможен цифровой подсчет о положении дел под Москвой, он дает разительный итог. Ко времени смерти Грозного в 13 станах Московского уезда писцовые книги показывают до 50.000 наших десятин пахотных земель. Из них пустует (круглым счетом) до 16.000 десятин в поместьях и вотчинах и, сверх того, до 4.000 за отсутствием владельцев сдано из оброка; стало быть, до 40% пахотной земли вышло из нормального хозяйственного оборота. Остальные же 60% (то есть, 30.000 десятин) распределены так: за помещиками

и вотчинниками 11.500 десятин и за монастырями 18.500 десятин. Значит, служилые люди в Московском уезде к концу царствования Грозного оставили впусте почти две трети общего количества пашни, каким могли бы владеть: сохранив за собою 11.500 десятин, они забросили 20.000 десятин. Еще более безотрадные данные получаются за то же время по Новгородским пятинам, которые лежали вблизи театра Ливонской войны: в них, по приблизительному выводу, из общего количества пахатной земли в обработке было только $7^1/_2\%$ и пустовало $92^1/_2\%$. У нас нет никаких показаний относительно того, какой процент населения ушел из центральных уездов на окраины и куда в каком количестве он перешел. Есть только сделанное „на глаз" исчисление, что в самые последние годы XVI века на „поле" вышло не менее 20.000 человек, которые пополнили собою массу более старых выходцев из государства. Конечно, эта цифра и приблизительно не определяет размеров эмиграции. О них можно судить по той горячке, какая охватила хозяев-землевладельцев в исходе царствования Грозного в их борьбе за рабочие руки. Всеми законными и незаконными, благовидными и неблаговидными способами старались они задержать в своих хозяйствах уплывавшую рабочую силу, не выпустить из-за себя крестьян и холопей, напротив, достать их себе со стороны. Мирными сделками и судом, насилием и хитростью держали они у себя народ и крепостили себе людей

с воли и из чужих хозяйств. Крестьянская „возка“, выкуп и перевоз задолжавших крестьян, составляли предмет постоянных столкновений между землевладельцами: богатые, сильные и ловкие „вывозили“ к себе всеми способами крестьян из-за бедных, мелких и неумелых хозяев. Равным образом переманивали они и непашенных работников, шедших „во двор“ в холопство к богатому и тароватому господину „служити волею“, а в сущности не „волею“, а обманом и по горькой нужде. По слову современника, кабалили людей, „написание служивое (т.-е., обязательство) силою и муками емлюще, инех же винца токмо испити взывающе — и по трех или по четырех чарочках достоверен неволею раб бываше тем“. Эта борьба за рабочих конечно, давала победу влиятельным и богатым владельцам (чаще всего, монастырям, располагавшим денежными капиталами и связями в Москве); но она была во вред крестьянам и мелким служилым людям помещикам: из них первые попадали в экономическую кабалу; а вторые, теряя крестьян, разорялись и не могли нести службу со своей земли. Правительство теряло и в том и в другом случае: разоренный крестьянин или убегал, или обращался в холопа и, стало быть, исчезал, как плательщик государственных податей; разоренный помещик не только не служил, но и „пустошил“ казенное поместье, уничтожал его хозяйственную ценность. Поэтому правительство неизбежно должно было вмешаться в дело. В 1580 году

Грозный взял у „освященного собора“ и его главы митрополита Антония торжественный приговор о том, что монастыри и прочие церковные владельцы впредь не будут приобретать никаких земель и не будут брать их в заклад, потому что „воинственному чину от сего оскудение приходит велие“. Вероятно, около того же времени состоялось государево „уложенье“, чтобы крестьян насильством не возили или чтобы их и вовсе не вывозили в известные сроки — „в заповедные лета“, которые точно определялись наперед правительством. К сожалению, не сохранилось точного текста этого „уложения“ Грозного; но оно во всяком случае существовало и по сути своей представляло собою первое, условное и временное, ограничение свободы крестьянского выхода, до тех пор признаваемой московским законодательством.

6.

Итак политический террор и опустение государственного центра привели Московское царство ко внутреннему кризису чрезвычайной силы. Длительная война, татарские набеги 1571 — 1572 гг. и случайные недороды тех же лет еще более обострили кризис. Грозный стоял пред тяжелой и сложной задачей. Страна отказывалась давать правительству людей и средства для продолжения войны; благодаря быстрому отливу населения, она вообще потеряла

силы, необходимые для поддержки правительства. Надобно было заново налаживать расстроенный порядок и искать новых рессурсов, способных восстановить государственную мощь. Естественна была мысль обратиться за этими рессурсами туда, куда ушла рабочая сила, и попробовать заново привлечь ее к отбыванию государственных служеб и повинностей, от которых она своим уходом себя избавила. Что касается до Поволжья, то в нем процесс заселения совершался под наблюдением и даже руководством московской власти. Поэтому там учет трудовых сил и средств шел в общем своевременно и правильно. Уже в середине 60-х годов XVI века, после распределения между русскими владельцами конфискованных татарских земель, в Казанском „царстве“ началась их общая перепись. В писцовые книги заносились земли дворцовые, поместья „верстанных“ людей, земли пустые и те, „что исстари были татарские и чувашские и мордовские, которые в поместья роздати довелося“. Все описанные земли так или иначе вошли в правительственное ведение и были приняты в расчет при распределении служеб и платежей. Иначе обстояло дело на юге, на диком поле. Еще в начале XVI столетия граница московских оседлых поселений была отодвинута с Оки („с берега“, как тогда выражались) на укрепленную „черту“, которая обозначалась каменными крепостями Калугой, Тулой и Зарайском. Правительство укрепляло и стерегло эту черту, обставленную против татарских

набегов гарнизонами и всякого рода природными и искусственными „крепостями". Самым мелочным образом оно заботилось о том, чтобы быть „усторожливее", и предписывало крайнюю осмотрительность. А между тем, несмотря на опасности на всем пространстве укрепленной границы жило и подвигалось вперед, все южнее и южнее, земледельческое и промышленное население. Оно безо всякого разрешения, даже без ведома власти, оседало на „новых землицах", на всякого рода угодьях. Его стремление из центра государства было так энергично, что выбрасывало наиболее предприимчивые элементы даже вовсе за границу крепостей, где защитою поселенца были уже не городские стены и валы, а только природные „крепости" — лесная чаща или течение лесной же речки. Такого рода население уходило со всякого учета и вовсе терялось для государства. Его нельзя было описать в писцовой книге и обязать тем или иным видом службы или тягла. Между тем государственные нужды делались все острее и острее, и к 1571 году в Москве окончательно созрела мысль заняться югом. Ближайший повод к тому дали вести о татарских набегах 1570 года.

В январе 1571 года государь решил на южной границе „поустроити станицы и сторожи", то-есть привести в порядок и улучшить ту сеть сторожевых разъездов и неподвижных наблюдательных постов, которая давно была раскинута на южной украйне и теперь признавалась мало состоятельной. Дело было

поручено боярину князю М. И. Воротынскому. Он распорядился вызвать из южных городов в Москву опытных в сторожевой службе людей, „которые преж сего езживали (сторожить границу) лет за десять или за пятнадцать“. Эти люди, „изо всех украйных городов дети боярские, станичники и сторожи и вожи, в январе, а иные в феврале к Москве все съехались“. С ними Воротынский выработал новый план сторожевой охраны границ, причем сторожевая линия была вынесена от Тулы на юг к р. Быстрой Сосне, к Орлу и Брянску, и таким образом значительное пространство „поля“ вошло в состав государственной территории. Это был акт правительственной колонизации „поля“, технически разработанный очень старательно и подробно. Так как при этой специальной работе возникали вопросы административные, выходившие за пределы ведения специальной комиссии Воротынского, то они передавались в боярскую думу, обсуждались там и разрешались особыми „приговорами“ бояр. Дело затянулось на несколько лет; Воротынского заменил боярин Н. Р. Юрьев; расписание „станиц“ и „сторож“ не раз изменялось сообразно с тем, как подвигались все южнее и южнее военные и хозяйственные заимки на „диком поле“. Правительство все внимательнее и внимательнее относилось к задаче колонизации „поля“, и к концу царствования Грозного и в самом начале царствования его преемника Федора Ивановича вопрос о включении „поля“ в сферу государ-

ственного ведения встал в самом широком объеме.

Руководящею мыслью всех мероприятий в этом вопросе была мысль о необходимости построения на „поле" крепостей с тем расчетом, чтобы ими занять и закрыть все броды через реки на татарских дорогах с юга к Оке — „по сакмам татарским на бродах поставити городы". Этим пресекалась возможность скрытого движения по „полю" больших татарских масс. Против же набегов мелких татарских отрядов устраивались между городами всякого рода „крепости": в лесах „засеки", на полях валы и рвы. Все это составляло сплошную линию укреплений — „черту", за которой наблюдали неподвижные караулы, „сторожи", и подвижные разъезды, „станицы". Сеть городов, задуманная при Грозном и осуществленная при нем и его преемнике, охватила громадное пространство „поля" между Доном, верхнею Окою и левыми притоками Днепра и Десны [1]). Это пространство стало своеобразным завоеванием Москвы, где объектом завоевания были не вражеские города и чуждое население, а пустые места и собственный народ. На деле врага только старались не пускать в захваченный район, для чего и строили города, а к этим городам старались на месте прикрепить свое русское население, вышедшее из центральных областей и перешедшее за

---

[1]) В этой сети укрепленных городов главными были Брянск, Орел, Кромы, Новосиль, Ливны, Елец, Воронеж, Оскол, Курск·

черту русской оседлости. Московский воевода, посылаемый на „поле“ для основания нового города, являлся на место, где указано было ставить город, и начинал работы; в то же время он собирал сведения „по речкам“ о том, были ли здесь свободные заимщики земель. Узнав о существовании вольного населения, он приглашал его к себе, приказывал „со всех рек атаманом и казаком лучшим быти к себе в город“; государевым именем он укреплял за ними их „юрты“ (заимки) и привлекал их к государевой службе по обороне границ и нового города. Из них и составлялось служилое население нового города и его уезда. Оно давало правительству возмещение той убыли ратных сил какая была вызвана опустением и разорением центра. Но этим не ограничивались повинности вольного населения, захваченного снова в государственный оборот казенной колонизацией „поля“. В каждом новом уезде на „поле“ заводилась казенная запашка, так называемая „десятинная пашня“, которую обязаны были пахать по наряду, сверх своей собственной, все мелкие ратные люди из городов (кроме детей боярских). Эта десятинная пашня была нужна для пополнения казенных житниц, из которых хлеб расходовался на различные нужды. Им довольствовали гарнизонных людей, не имевших своего хозяйства; казенный хлеб посылали в более южные города, где еще не была налажена своя запашка, а также на Дон казакам в виде „государева жалованья“. Таким образом правительство

думало восполнить ту убыль земледельческих продуктов, какая была естественным следствием хозяйственного кризиса в опустелом центре.

Заботы о заселении и укреплении Поволжья и особенно южной Московской окраины и об устройстве в этих областях военного и трудового населения составляли главный предмет правительственной деятельности последних лет царствования Грозного. Поскольку ослабевала репрессивная энергия власти в опричнине, постольку росло ее внимание к организации окраин, оставшихся в „земщине“. Тот исследователь, который ограничит свое наблюдение над Московскою жизнью этого периода только законодательною деятельностью центральных органов власти, должен будет признать, что они бездействовали и что сам Грозный влачил свои дни в мрачном настроении, болезненно переживая военные неудачи и по временам отдаваясь приступам зверского озлобления. И одно лишь знакомство со специальными материалами, касающимися устройства служеб и труда во вновь заселенных окраинных областях государства дозволяет понять, куда направлялись заботы правительства. Они не требовали общих законодательных определений и ограничивались практическим выполнением, по мелочам, раз установленного плана, а поэтому и не отражались ничем в указах и законах, хотя и свидетельствовали о бодрости и жизнеспособности правительства не менее, чем широкие реформы молодых лет Грозного, или же бурная затея опричнины.

с Ганзой. Родство с Палеологами привлекло в Москву „фрягов“, представителей романских наций, главным образом итальянцев. Сам Грозный начал сношения с Англией. Ливонская война поставила его в некоторую связь с Данией, с которою у него оказались общие враги. Грозного интересовали не только политические и торговые комбинации, вытекавшие из тех или иных сношений, но интересовала и самая культура Европы, ее техника, ее наука, ее религия. В своем месте было указано, как скоро после первого знакомства Москвы с минным делом у Грозного под Казанью оказался минный мастер, „подкопыватель“, с учениками. Упоминали мы также о Гансе Шлитте, вербовавшем в средней Европе всякого рода техников для Москвы. Интересовался Грозный и врачами: тот же Шлитте пригласил в Москву из Германии более 20 лиц медицинской профессии. Этим приглашенным не удалось пробраться к Грозному сквозь Ганзейские и Ливонские заставы. За то другие медики свободно приезжали в Москву через устья С. Двины и Холмогоры. Это были по большей части англичане, между которыми встречались люди действительно сведущие (Роберт Якоби, Арнульф Линзей). В 1570 году в Москву явился из Англии же немец по происхождению, питомец Кембриджа, доктор и астролог („волшебник“) Елисей Бомель или Бомелий. Этому проходимцу и интригану—суждено было сыграть видную роль при Грозном. В течение целого десятилетия состоял он при

царе не только в качестве медика, но и как гадатель-астролог и составитель ядов, предназначенных для опальных людей. Современники знали о его близости к царю и сокрушались ею. Думали даже, что Бомелий был подослан к Грозному его врагами, литвой и ливонцами; это они „к нему прислаша немчина лютого волхва нарицаемого Елисея, и бысть ему любим в приближении; и положи на царя страхование ...и конечне был отвел царя от веры: на русских людей царю возложи свирепство, а к немцем на любовь преложи". Так говорил один летописец; другой утверждал, что Бомелий прямо лишил Грозного ума: царь, по его словам „в ратех и войнах ходя, свою землю запустошие, а последи от иноверца (Бомелия) ума исступи и землю хотя погубити, аще не бы господь живот его прекратил". Хотя в конце концов Бомелий и погиб от Грозного, как погибали многие его любимцы, по подозрению в „измене", однако его влияние на царя глубоко запало в памяти русских людей. Один из писателей начала XVII века, Иван Тимофеев более четко, чем прочие современники, выразил мысль о том, что Грозный к концу своей жизни подпал иноземным симпатиям и влияниям. Он говорит, что царь, избив одних своих бояр и разогнав других, вместо них „от окрестных стран приезжающая к нему возлюби". Иных он сделал своими интимными советниками („в тайномыслие си приятова"); другим вверил свое здоровье ради их „врачевные хитрости". Они же при-

несли „душе его вред, телесное наче нездравие“, а кроме того, внушили ему „ненавидение на люди его“. Тимофееву казалось, что и „средоумные люди могли бы разуметь, „еже не яти веры врагом своим во-веки“; между тем Грозный, „толикий в мудрости, ником побежден бысть, разве слабостию своея совести“, сам вдался в руки иноземцам. „Увы! (восклицает Тимофеев) вся внутренняя его в руку варвар быша и яже о нем восхоте да сотвориша“. Здесь, конечно, вспоминается прежде всего Бомелий, но разумеются и вообще иноземцы, появившиеся к концу царствования Грозного в значительном числе в Московском государстве. Торговые англичане и голландцы, торговавшие в Москве и на русском севере; пленные немцы и литва, поселенные в разных городах, до Лаишева включительно; иностранные послы, с большою свитой приезжавшие в Москву, — все эти люди могли внушить представление, что царь дал силу иноземному элементу, покровительствует ему и поощряет его. Откинув неизбежные преувеличения, не повторим вслед за летописцами, что Грозный лишился ума „от иноверца“, но признаем, что склонность к общению с европейцами и с Западом выражалась у Грозного достаточно ярко и сильно. Бесспорно, что в минуты „страхования“ от „измены“ он даже думал о возможности покинуть Русь и тогда хотел искать убежища на Западе, именно в Англии.

160,

ОГЛАВЛЕНИЕ.

А. А. ГИЗЕТТИ — Шелли.

А. К. ГОРНФЕЛЬД — Аксаков.

Л. П. ГРОССМАН — Достоевский.

Проф. О. А. ДОБИАШ-РОЖДЕСТВЕНСКАЯ —

Людовик IX.

Ричард Львиное Сердце.

Проф. Д. П. КОНЧАЛОВСКИЙ — Катон Старший.

А. А. КОРНИЛОВ — Бакунин.

Б. А. КРЖЕВСКИЙ — Расин.

„ Сервантес.

Д. А. ЛЕВИН — Вольтер.

П. П. МУРАТОВ — Лоренцо Бернини.

Проф. А. Е. ПРЕСНЯКОВ — Сперанский.

„ К. П. Победоносцев.

Б. А. РОМАНОВ — Граф Витте.

Проф. А. А. СМИРНОВ — Кальдерон.

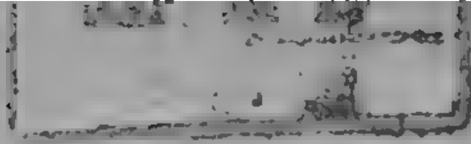
„ Е. В. ТАРЛЕ — Наполеон.

„ Бисмарк.

„ С. И. ТХОРЖЕВСКИЙ — Емельян Пугачев.

А. И. ХОМЕНТОВСКАЯ — Лоренцо Валла.

А. Г. ЯРОШЕВСКИЙ — Станкевич.



наука и религия несовместимы

